



Николай ПОЛОТНЯНКО, член Союза писателей России, лауреат премии им. И.А. Гончарова, лауреат премии им. Н.Н. Благова. Награжден медалью Н.М. Карамзина, литературным орденом Ф.М. Достоевского.

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИКИ

Повесть

Внучке Агате

Из самых ранних воспоминаний

Жизнь всякого человека, если упростить её до предела, есть не что иное, как временной поток, имеющий своё начало, который мы называем детством. От него в памяти старого человека остаются немногие отрывочные воспоминания, которые можно без ущерба для повествования опустить. Но, чтобы не начинать повесть с загадочного умолчания о самых первых годах моей жизни, скажу, что зачат я был, скорее всего, в гостевой палатке батальона Трудовой армии, куда мама с котомкой еды приехала к оголодавшему мужу на свидание.

По моим предположениям, это был сентябрь 1942 года, немцы рвались к Волге, Сталинград был в огне. Отец ждал отправки на фронт, куда его, близорукого «белобилетника», взяли из Трудовой армии во вторую очередь. Мама только что похоронила

годовалого Виктора, моего братика, который умер от простуды. Она, как мне кажется, и поехала к отцу, чтобы родился я – и боль её, и радость. Казалось бы, война, бескормица, зачем маме, почти наверняка будущей вдове, заводить ребёнка, но тогда, как я понимаю, женщины рожали, инстинктивно чувствуя необходимость продолжения рода. И все равно мало моих годков, рождённых в 1943 и 1944 годах.

Мама, Анастасия Иосифовна, познакомилась с моим отцом Алексеем Карповичем в Усть-Шише Омской области, куда он был направлен на лесозаготовки. Там они и поженились, и вскоре отец увёз маму к себе на Алтай. Отца взяли на фронт, он был два раза ранен, награждён орденами. После демобилизации семейная жизнь у него не заладилась. Отец был, судя по всему, ещё тот котяра, а безмужних баб, красноармеек, имелось в те годы хоть пруд пруди. В какой-то момент мама забрала

меня и уехала в Прокопьевск, устроилась на шахту кассиром. Отец уехал в Новосибирск, где сошёлся с какой-то женщиной. Вот такая получилась обыкновенная семейная история, в результате которой я при живом отце стал безотцовщиной, поэтому говорить об этом больше не буду.

Шахта «Восточная», где работала мама, в конце сороковых годов находилась на окраине Прокопьевска. Она работает до сих пор, и там живёт тётя Валя со своим Володей. Тогда, я это хорошо помню, там был террикон, а ещё заводоуправление, столовая, школа, а выше по склону горы были рассыпаны избушки шахтёров и бараки. В шахте добывали коксующийся уголь, были даже мокрые забои, то есть такие, где забойщики работали в воде. Помнится, угля для топки печей не выписывали даже для шахтёров, и мы, ребятня, мал мала меньше, собирали его на отвалах породы.

Шесть лет мне. Рабочий посёлок. Дымит террикона гора. Мир болью ещё не расколот На стороны зла и добра.

Шатаются стены барака От вьюжного всплеска зимы. По склону крутого оврага На санках катаемся мы.

А мимо от мрачных сараев Шагает угрюмый конвой. На шахту ведут полицаев, С собаками, в мокрый забой.

Стучат по каменьям подмётки. И каждый от инея сед. Солдатские вдовы, молодки, Глядят непрощающе вслед.

Колонна проходит ограды. Клеть падает в мокрую тьму. А мы, безотцовщина, рады И сами не знаем чему.

На шахте, шестилетним, меня мама отправила в школу. Но учиться мне пришлось месяца два, не больше: меня украл отец и увёз в Новосибирск, где я прожил месяца два, пока мама меня не нашла. На шахту к тому времени приехали жить тёти – Шура и Валя. Тогда ещё не было закона о запрещении женщинам работать на подземных работах, и они каждый день спускались в шахты.

В день получки мама брала меня с собой на работу, потому что выдача денег заканчивалась глубокой ночью. В 1956 году Хрущёв срезал шахтёрам зарплату, а до этого проходчики и забойщики получали до десяти тысяч рублей (тысячу рублей до 1992 года). И мне с детства врезался в память кисловато-терпкий запах новых банкнот. Мама выдавала деньги, а я складывал из пачек пирамиды и домики. Бывало, и засыпал на мешках с деньгами. Что ж, у каждого в детстве были свои игрушки. Всё это припомнилось мне в 1978 году, когда я узнал, что назначен в случае войны в боевое сопровождение по эвакуации денег из ульяновского Госбанка в Казань.

Мне это показалось забавным: нищему поэту доверяли громадные ценности, но, возможно, подумал я, кому-то стало известно, что к большим деньгам я равнодушен, ибо повидал их в детстве.

До сих пор помню, как я впервые увидел маму в кошёвке между двух розовощеких парней с автоматами, а главное, жеребца Зайчика, который, чуть отвернув набок голову и приплясывая, шел мимо поселковых развалюх.

– Одевайся! – сказала мама. – Поедем со мной в город, надо сапоги тебе к весне купить.

Я обрадовался до немоты. Не далее как вчера я просился у нее прокатиться, а тут счастье такое свалилось нежданно-негаданно. Я быстро оделся и выбежал на улицу.

Конюх Артем сидел на облучке в шубе-борчатке и курил козью ножку. Солдаты, закинув за спины автоматы, разговаривали, загородив тропинку, с вербованными девчатами.

Я подошел к Зайчику и почувствовал, как от того остро пахнет потом и свежим сеном. Жеребец нервно переминался с ноги на ногу, косил злым лиловым глазом, из ноздрей струились белесые завитки пара.

Сбруя на Зайчике была добротной работы, надраенные медные кругляшки сияли от утреннего зимнего солнца и, казалось, жеребец был не в сбруе, а в панцире. От нервных движений Зайчика кожаные ремни скрипели, а под дугой, расписанной синими птицами, позванивал колокольчик-шаркунец.

Народу на улице было мало, и я жалел, что меня, гордо восседавшего на облучке рядом с Артёмом, почти никто не видит. Зайчик осторожно шел под гору, всхрапывая и оседая на круп. Остро светило солнце, и пахло угольным дымом из протопленных утром печей.

Поселок был невелик. За вентиляторной подстанцией, которая гудела всей утробой, засасывая в шахту свежий воздух, мы свернули в чахлый березнячок.

- А что, не боишься, как ведмедь вдруг выскочит из-под пня? толкнул меня в бок Артём и ощерился черным цинготным ртом.
- У нас же ружья, ответил я и покосился через плечо назад.

Мама сидела посреди солдат, закрыв ноги тяжелой цвета бычьей крови попоной.

Она слышала, что сказал Артём, начала рассказывать:

- Перед войной, летом тридцать девятого, поехала, как сейчас, за деньгами для леспромхоза. Еду по стлани, бревнышки подо мной постукивают. Задремала чуток, жарко было. Вдруг чую встала моя Карюха. Гляжу, сбоку медведь к нам топает. Карюха повела ушами, как дёрнет я кувырком на дорогу, а лошадь и деньги, тысяч тридцать было, убежали от меня. Протерла глаза, а он метрах в тридцати от меня сидит на пеньке, как человек. Я от него он за мной. Я остановлюсь он остановится. Так и играли, может, полдня. Потом он поднялся и пошел в лес. А через минут десять машина подошла наша, леспромхозовская. А Карюха отбежала с километр и на полянке пасется, и деньги целехоньки...
- Это он тебя, Евдокия, в жены хотел взять! заржал Артем. Медведи, они сластники, мед, малина, ну и это самое...

Низкий березнячок был мне знаком. Прошлым летом меня сюда заманили подростки и отняли новую тюбетейку. И хитро так заманили. Я скучал о бабушке – мне сказали, что она живет за лесом. Так и попался. До сих пор было жалко тюбетейку. Так первый раз в жизни меня обманули.

Город оказался тесным скопищем грязных домов, над которыми кружились, словно копоть, стаи крикливых ворон.

Сначала пошли насыпухи, кривобокие с рваными толевыми крышами, бараки, окруженные колючкой и вышками и без этого окружения, дырявые, с надолбами желтого льда сортиры, чахлые деревья на обочинах, потом впереди замигал светофор, стало гуще машин и людей. Зайчик нервно всхрапывал и скользил подковами по льду. Артем, сдерживая жеребца, покрепче накрутил вожжи на руки.

За светофором улица расширилась, из-за угла, позванивая, вынырнул трамвай. Вагоны были битком набиты людьми, они висели в дверях и даже сзади последнего вагона.

– Самый центр! – Артём махнул кнутовищем в сторону громадного белого здания, перед которым стоял высоченный чугунный человек в шинели до пят. Я посмотрел и увидел на торце белого дома портрет этого же человека, только нарисован он был не в шинели, а в кителе. Голова его занимала верхние два этажа, потом шло туловище, штаны с кроваво-красными лампасами и блестящие сапоги. Лицо у человека было спокойное и доброе. С отеческим вниманием он смотрел на центральную площадь, внимая каждому взгляду.

У здания Госбанка было тесно от множества саней и автомашин. Кассиры со всей округи съехались за деньгами для шахтеров, рабочих и охранников. Автоматчики сразу углядели среди других солдат своих земляков. Артём разговорился с конюхом из соседней шахты, а мама заняла очередь в кассу и повела меня на вещевой рынок.

...Безногий инвалид на деревянной коляске пел возле входа, подыгрывая на балалайке:

В ноги бросилась старуха, Я ее прикладом в ухо. Старика прикончил сапогом, Да! Да!..

Несмотря на мороз, калека был в одном пиджаке, из-под которого выглядывала тельняшка и синие наколки. Рядом с ним лежала шапка, в которой поблескивала мелочь. Ему подавали, но мало и редко.

Вокруг торговали и покупали, перед моими глазами мелькали пальто, шапки, шарфы, рукавицы, телогрейки, отрезы материала, кружева, ковры, различные вышивки. В углу барахолки мычала и блеяла выставленная на продажу скотина. Возле пивнушки толкались и матерились пьяные мужики, и к ним неторопливо двигался милиционер.

- Атас! Красноперый!

Мужики враз угомонились. Милиционер внимательно осмотрел очередь и выдернул из нее тощего мужика с зеленым лицом. Шапка свалилась с

головы мужика и упала в снег. Пробегавший мимо пацан с размаха пнул ее в толпу. Мужик кинулся за ней, милиционер следом, а вокруг, радуясь бесплатной потехе, хохотал народ.

Обувной ряд был жидковат, всего два десятка продавцов. Торговали валенками, чинеными ботинками, латаными сапогами. Мама приценилась к одним сапогам, но продавец заломил несусветную цену. Поторговалась и отступилась. Ладно, сказала она мне, закажу тебе резиновые на шахте. Я обрадовался. Мне нравились сапоги-самоклейки, которые были в моде у шахтеров. Их делали из резиновых автокамер.

В продуктовом ряду она купила миску горячей картошки и соленый огурец. Поели с куском своего черного хлеба, притулясь к ларьку, и запили обед общественным кипяточком из бака.

У покосившихся ворот безногий инвалид продолжал петь, потряхивая белой от инея головой.

У банка народу и саней стало поменьше. Артём лежал в кошёвке на соломе, укрывшись попоной, и дремал. Солдаты курили и хмуро смотрели по сторонам. Старший из них глухо сказал:

- Надо до темноты вернуться на шахту. У нас инструкция...
- Сейчас, сейчас! заторопилась мама. Очередь, наверно, подошла.

Она ушла в банк. Через полчаса позвала солдат, и они вынесли из банка деньги. Три мешка, да еще продуктовую сумку.

Артём протер покрасневшие от дремоты глаза, попрыгал, постукивая себя в обхват руками, чтобы согреться, и сел на облучок.

Из города выехали, когда уже свет начал меркнуть. Солнце проваливалось в огромную багряносинюю тучу, затянувшую горизонт, снег и иней на деревьях стали голубыми. Отфыркиваясь, Зайчик ходко нес кошевку по жесткой дороге, полозья посвистывали, морозный воздух щипал ноздри, и я с интересом посматривал по сторонам, пытаясь угадать, кто оставил следы на обочинах дороги.

– Иди сюда, – сказала мама, – а то замерзнешь... Я перелез через облучок, закутался в попону с головой и лег на солому между жестких с острыми углами мешков с деньгами.

Суматошный день утомил меня. Мягкая езда убаюкивала, события дня проходили, как в кино, ярко и живо, это была сладкая дорожная дремота, которую познает только усталый, измотанный человек.

Возле конторы было много людей. Шахтеры ждали получку и не расходились. Деньги перенесли из саней в кассу, и мать начала выдавать зарплату, а я уснул на шубе в углу, рядом с батареей отопления.

Вскоре новое горе заслонило старое. Рухнули в шахте два горизонта. Целый месяц трупы из шахты доставали. На розвальнях, завернутых в мешковину, мертвых везли в поселок.

Я бегал смотреть к шахте, но близко к огромному сараю, где громыхала клеть главного ствола, не пускали. Вокруг стояло оцепление. Солдаты отталкивали зареванных баб, огромные овчарки рычали на толпу и рвались с поводков.

Оцепление размыкалось, когда нужно было кого-нибудь опознать или забрать домой мертвого «вольняшку», а зэков сразу везли на кладбище, где их кое-как закапывали мерзлой землей.

Пришла весна, тусклая в кузбасских краях, сиротская, и на поселок с кладбища потянуло сладковатым запахом. Вода размыла зимние могилы и обнажила человеческие останки. Кто постарше и посмелее, ходили на них смотреть, но я не отходил от барака, слышал только, как с террикона, грохоча, проковылял мимо барака трактор с широким лобовым ножом, сгреб трупы в овраг и заровнял их тяжелой мокрой глиной.

С весенним теплом население барка ожило, люди стали чаще выходить на улицу, рассаживались на завалинках и скамейках. Бабы искались: вычёсывали друг у друга вшей, мужики играли в домино, а я в сапогах-самоклейках бродил по лужам, в которых плавало расплавленное солнце.

Весна и лето прошли безмятежно, и ни один из этих дней не оставил в памяти язвящей занозы. Но, как говорится, у Бога всего много...

О своих первых годах мне кое-что известно со слов матери, очень немногое, что поразило её. Так, однажды она пришла с работы и обнаружила, что я, как заправский мужик, развёл мыло в мыльнице, намылил лицо и примеривался возле зеркала к бритью с распахнутой опасной бритвой в руке.

С благодарностью она вспоминала отцовскую сестру, которая работала кондуктором на ташкентском поезде и привозила для моего кормления канадский яичный порошок. Рассказывала о моём появлении на свет. Мама меня переносила, я родился практически мёртвым, и меня откачали профессора, которые работали в военном госпитале на глухоманной железнодорожной станции Тальменка. Так у меня в метриках и записано место рождения – «ст. Тальменка». Впоследствии работники паспортного стола вписывали мне «село», «станица», но никак не станция.

В детстве, с тех пор как я себя помню, я был очень мечтательным и простодушным. Мою душу населяли самые диковинные образы и тени. Последние, как мне иногда кажется, можно воспринимать как отпечатки моей предыдущей жизни. Даже сейчас, когда мне уже за семьдесят, во мне вдруг откуда-то нечаянно возникает воспоминание. Я начинаю рыться в памяти и не нахожу этого, не было со мной такого случая, однако пришедшее воспоминание так живо и ясно, что не поверить ему я не могу. Может быть, это происходит потому, что у меня две верхушки, значит, я состою из двух человек. Можно было развивать эту тему, но только вот куда она заведёт?.. Однако отметить это надо, так, на всякий случай.

В первом классе я получил первую двойку гдето близко к Новому году. Огорчился до глубины души, рыдал взахлёб в подол платья тёти Натальи, которую я всю жизнь называл «мамка старая». Она была совершенно неграмотной, работала всегда с лесом: и на лесоповале, и на погрузке, и на разделке.

– Не плачь, Коленька, мы её сейчас сотрём, мамка и не увидит!

Сказано – сделано: мамка старая оторвала кусочек газеты, потёрла им об стенку нашей землянки, побеленной известью. Затем начала счищать двойку с тетрадного листа. В результате получилась на месте отметки довольно крупная дырка с грязными краями. Разочарование наше было беспредельным.

Вскоре с работы пришла мама и первым делом стала просматривать тетрадку. Дырку она обнаружила сразу и, не зная, кто её сделал, кинулась с ремешком на меня. Мамка старая прикрыла меня своим грузным телом и получила несколько хлёстких ударов.

– Всё, пойду, замёрзну!.. – в сердцах выкрикнула мамка старая, надела овчинную шубу – борчатку, суконную шаль до пола и выбежала на улицу. Замерзнуть в шубе было мудрено, и, соскучившись среди сугробов, она вернулась в тёплую землянку. Чем эта история кончилась для меня в школе, я не помню...

Жизнь таежная. Лето 1951 года

Поначалу не пожилось маме в Копае (Любинский молочно-консервный завод, Омская область). Она загоношилась, засобиралась, и мы после того, как я окончил первый класс, уехали в деревню Усть-Шиш, Знаменского района, где жила бабушка Екатерина Фёдоровна с сыном Иваном. Конечно, мама поторопилась переезжать, и вскоре это поняла, но её тянуло домой, где она не была более десяти лет, надежда на лучшую жизнь, которой в этом захолустном таёжном углу быть не могло. Ехали мы от Омска пароходом на север трое с лишним суток. Долго стояли на остановках, и я видел, как матросы грузили на пароход с берега уголь, используя наспинные приспособления, которые, по-моему, назывались «кобылами». Пароход весело шлёпал плицами, мы ехали без места, так называемым четвёртым классом, и спали рядом с машинным отделением, где было шумно, крутился какой-то громадный маховик, выкрашенный чёрной и красной краской. Через нас ступали проходящие на палубу люди, но мне эта поездка показалась незабываемо интересной.

В начале пятидесятых годов по радио часто выступал американский певец – негр Поль Робсон. Он был коммунистом, и его пропагандировали по всем городам и весям СССР. И вот на пароходе бог весть откуда пассажиром оказался негр. Одет он был в белый костюм, и его чёрная физиономия поразила меня и моих попутчиков до изумления.

– Поль Робсон! Поль Робсон! – загомонили вокруг наши сибиряки.

Пофланировав на палубе для пассажиров первого класса, негр скрылся в каюте, и больше я его не видел. Но мне и сейчас любопытно знать, что привело этого негра в нашу глухомань? Ведь ехал он на север, в сторону тундры.

Иртыш был не тот, что сейчас! Широкий, быстрый, поднимающий глинисто-песчаную муть со дна, берега обрывистые, крутые, сначала пустынные степные, но вскоре уже покрытые лесом, всё это ещё отдавало первобытным простором. Кричали чайки, бугрились водовороты, вода шла быстрой и плотной массой, ослепляя меня и кружа голову. За Тарой небо стало ниже, облака провисали почти до земли – начиналась уже настоящая тайга.

На берег мы спустились по шатким сходням, брошенным на песок. Нас, конечно, никто не встречал, тогда как-то не принято было предупреждать о приезде телеграммой. В бабушкином доме все спали, наконец, отворили ворота, начались слёзы встречания, а меня, уже совсем квелого от усталости, затолкнули спать на полати.

Утром я познакомился со своей родней. Бабушка Екатерина Фёдоровна Рязанова была очень спокойной, ни разу я не видел её в гневе. Всю свою жизнь она знала только одну работу по дому, уход за скотиной и обстирывание ребятни. Дед Осип Фёдорович умер ещё в 1936 году, и ей пришлось тянуть на себе всё хозяйство, правда, к этому времени дети уже подросли, и маленькой была только Валентина.

Рязановы – вятские выходцы, но откуда точно – памяти об этом не сохранилось. В Сибири они, судя по всему, обосновались в начале девятнадцатого века. Старики рассказывали, что группа переселенцев двигалась вверх по Иртышу из Тобольска в поисках подходящей для жительства земли. Дошли до устья Шиша, огляделись и решили остаться здесь. Место было рыбное, богатое кедровыми орехами, пушным зверем и никем не тронутое. Сначала сделали для жилья времянки. Расчистили от тайги место под пашню, посеяли репу, лён, пробовали сеять рожь, но она не всегда успевала созреть, завели скотину и огородили большой участок ляги (сырое травяное место) поскотиной (жердевой изгородью) и зажили в тишине и покое. В те времена дичь водилась на Шише в изобилии: лоси, медведи, боровая птица, но особую ценность представляли колонок и, горностай, чьи белоснежные с чёрными кончиками на хвостах шкурки всегда высоко ценились. В стародавние времена из них делали царские мантии.

Рыбалка была здесь – лучше не бывает. Даже в 1951 году, когда я приехал на Шиш, там изобильно водились стерлядь, щука, язь, окунь, линь, налим и другая рыба. Дядя Ваня с соседом забросили на Иртыше невод, я стоял на «пятаке», то есть держал конец верёвки на берегу, и выволокли за один раз столько рыбы, что она не вся поместилась в лодку. Себе рыбаки взяли по ведёрку рыбы, остальное раздали соседям, в большинстве вдовам. Такой был испокон заведён порядок.

Ягод и грибов в урожайные годы было столько, что хоть возами вози. И это не преувеличение. Той же осенью мы пошли в Наташкин бор за брусникой, набрали, сколько можно было унести. На обратном пути бабы забрели в березнячок возле деревни и за каких-то полчаса наломали целую гору груздей. Я сбегал к дяде Ване, он на лесозаводе взял бричку, мы нагрузили её с верхом и поехали домой. Грузди солись в бочонках, как огурцы и капуста. Брусника и клюква хранились в амбарах, где ягодами набивали огромные лари. Летом брали землянику, малину, чернику, ежевику. Особенно памятна мне голубика. Растёт она в ряму, невысоком кустарнике на сограх, длинных возвышенностях. Брали её в разгар лета, и бабы иногда встречались там с медведями, тоже большими любителями черники и голубики. Не знаю, как медведю, но мне голубика с молоком сразу набила жуткую оскомину, и я стал есть её осторожнее. Сахара не было, поэтому варенья не варили.

В деревне держали коров, бычков, нетелей, овец, свиней, много птицы. За исключением коров, которые приходили сами домой на дойку, вся остальная живность метилась и выгонялась на поскотину, где и питалась тем, что находила под ногами. Метка у Рязановых была «пень и рубишь». Скотине обрезали кончик уха, а чуть ниже делали надрез. И ничего не терялось. По первому морозу скотину сгоняли во двор и решали, кого оставить на зиму, а кого пустить под нож. Налоги брали натурой, бабушка сдавала масло, опаливать свиней не разрешалось, за это полагалась чуть ли ни тюрьма. Но всё равно мяса было вдоволь. Часть его хранили замороженным, а часть вялили, вывешивая на чердаке. Хлеб, то есть муку, завозили один раз в год, в навигацию. Я занимал очередь в магазине часа в два ночи и получал на семь человек буханку мокрой чернухи. Из-за нехватки муки знаменитых сибирских пельменей я не едал. В Копае было туго с мясом, а на Шише – с мукой. А вот молока, сметаны, творога было вдоволь, только сепаратор был ручной и крутить его муторно. Была и маслобойка из бересты.

Сразу по приезде я обнаружил на чердаке уйму бумажных денег: царских, керенок, дензнаков омского правительства Колчака. В том, что было много денег периода революции и Гражданской войны, нет ничего удивительного: их печатали столько, сколько было гербовой бумаги. А вот царские деньги – рубль к рублю, десятка к десятке – складывались десятилетиями моим прадедом от продажи скота, пушнины, погрузки барж и другой работы. И всё это копилось на чёрный день, а когда он наступил в 1917 году, ассигнации превратились в цветной бумажный мусор, золотые пятёрки и десятки съели в голодном 1931 году. Прадед имел тысячи, а снохе Екатерине пожадничал купить зингеровскую швейную машинку, и она обшивала семью вручную. Он имел в семье абсолютную власть. Было у него ещё два брата, имён не помню, знаю только, что один из них упал с кедра и сильно повредил руку. Другого забрили в солдаты, он отмыкал на царевой службе лет десять или пятнадцать. Тогда призывников метали по жребию. На какую семью он выпадал, та семья и выставляла рекрута. Оставшиеся блюли его пай в хозяйстве и по возвращении солдата отдавали ему целиком.

Мой дед Осип Фёдорович был призван в конце девятнадцатого века на Дальний Восток. Шёл он до Порт-Артура пешком. Определили его в матросы. После семи лет службы вернулся уже по чугунке. Было это ещё до Русско-японской войны. Когда он уходил служить, то заплёл десятилетней девочке Кате Быковой в косу ленту. Это означало, что он выбрал её в невесты. Так и случилось, поженились они на рубеже двадцатого века.

Как сказано, Рязановы были по происхождению вятские. На это указывает и то, что бытовавшие ещё при мне в семье прибаутки, россказни имели сво-им героем обычно придурковатого вятского мужика. Рассказывали, например:

«Подошёл Вантё к реке, стал думать, как переправиться. Наконец, надумал. Оседлал бревно, а ноги, чтобы не свалиться, завязал верёвкой. Отплыл и перевернулся головой в воду. А мужики на берегу говорят: «Смотри, Вантё какой – только отплыл, а уже лапти сушит!»

Была ещё побасёнка: сидят старик со старухой и плачут. Прохожий их и спрашивает, что ревёте, старые? «Так как же не плакать, вот видишь, кирпич упал с крыши, а если бы внучек в тот час бежал, его бы зашибло». Рассказывали и про корову, которую тащили на сарай с земляной крышей, где выросла трава, чтобы бурёнка её съела. Много чего рассказывали.

Бабушка знала много сказок. Научилась она им у проезжих мужиков, которые постоянно заезжали ночевать по дороге на ярмарку зимой. Помнила об этом и мамка старая: «Зимой проезжие мужики заезжали часто. Попьют чаю и давай сказки рассказывать, Я слушаю, слушаю, пока мать не прогонит на полати...»

Рязановскому дому, когда я жил на Шише, было уже более ста лет. Состоял он из двух половин: чистой, то есть горницы с крашеными полами, и чёрной – кухни, где половину площади занимала русская печь, у стен были лавки, прикреплённые намертво к срубу. Под потолком были навешаны полати. Говорили: «Баба малого дитя кормит на печи. Отымет от сиськи и толкнёт под зад на полати. Крайний с другого конца слазит и переходит спать на лавку». Так и росли – весь день во дворе, ночью на полатях до десятка ребятни – места хватало всем...

Дом стоял на столбах, без фундамента, ни погреба, ни подвала не имели, всё хранилось в амбарах, которые тоже возводились из круглого леса на столбах. До постройки плотин в верховьях Иртыш бурно разливался, затопляя округу. Скотину угоняли в согру, где повыше, а дома по месяцу и более стояли на столбах в воде. К заплотам (бревновой ограде) были прикреплены цепями боны, которые с подъёмом воды всплывали. По ним ходили к соседям, в сельмаг, на работу. А надо куда подальше – садились в лодку и гребли по улицам.

Вот такая была таёжная Венеция.

К середине июня вода уходила, боны опускались на землю и спасали людей от непролазной грязи, в которой запросто тонули тёлки и свиньи. Место было болотистым, сырым и комариным. Но особенно одолевала мошка. Как-то раз она, видимо, совсем допекла дядю Ваню и его жену Надю. Открыли они настежь окна, принесли в чугунном тазу сухого навозу и подожгли. Плотный дым повис в метре от пола и сочился через окна, а они устроились спать на полу. Я вдохнул разок дымка, раскашлялся, расчихался... Чего, думаю, они прячутся? Нас, ребятню, комары и мошка будто и не трогали, во всяком случае, я от них не страдал.

Дом был покрашен краской (полы, двери, окна), судя по надписи, сделанной в кладовке в 1851 году. Но бабушка говорила, что он до этого стоял некрашеным лет двадцать. Значит, он был построен гдето к 1830 году. Когда я приехал, он был сильно осевшим на одну сторону, где стояла печь. При мне дядя

Ваня созвал помочь. Принесли домкрат, подкатили брёвна и за день подрубили новых три венца. Так, по-моему, он и стоит до сих пор. Последний раз я был там в 1971 году. Боже, каким он маленьким мне показался! Что греха таить, дядя Ваня и тетя Надя были с ленцой. Жили среди леса, среди лесосплава и не могли срубить себе избу. Побывал я тогда в гостях у своего дальнего родственника. Этот был мастер. Избу себе срубил окон в восемь, двор застлан половинками брёвен, покрыт тёсом. Амбары, помещения для скота и птицы – всё из добротного леса. А сколько сосен, пихты, лиственницы, берёзы, осины было сплавлено по Шишу, сколько ушло вниз и вверх по Иртышу плотами и на баржах! Вот он не поленился, построил дом и зажил в своё удовольствие.

Когда-то, до коллективизации, амбары и скотные дворы занимали всё пространство, где на момент моего приезда находился огород. Земля была навозной, и всё росло как на опаре: и картошка, и другие овощи. Надворных строений было не меньше десятка. До 1933 года мой дед с семьёй (работников в такой глухомани сроду ни у кого и не было) держал до десяти дойных коров, столько же лошадей, штук тридцать - сорок овечек, десяток свиней, немерянное число гусей, уток и курей. Конечно, в условиях того времени скот ведь фактически летом не кормили, только зимой тем, что оставляли на племя. Коровы молока давали мало. Бабушка всё вспоминала, что в приданое от родителей получила корову «ведёрницу», она давала в день ведро молока и стоила до русско-японской войны десять рублей. Деньги по тем временам немалые. От той коровы и пошло всё стадо.

Лошадьми занимался дед Осип. По рассказам мамы, он был завсегдатаем ярмарок, которые зимой бывали в Знаменском и Таре. Уезжал на лошадях, но, бывало, что возвращался с одной уздечкой. Нет, он не был пьяницей, хмельное употреблял только по великим праздникам, а вот менщиком был азартным. Вот его и надували иногда ярмарочные хлюсты.

Во всем Усть-Шише к началу тридцатых годов было от силы три десятка домов, магазин и пристань. Зимой иногда зимовали пароходы, и население деревни увеличивалось. В 1939 году привезли ссыльных из западных областей – поляков, и поселили их на левом берегу Шиша. С коллективизацией в Усть-Шише власти проморгали, хватились только в 1933 году. К этому времени мужики уже уразумели, что такое коллективное хозяйство, и успели свести скотину под корень, оставив себе коровёнку да пару ярочек и пару поросят.

Однако колхоз организовали, но он просуществовал где-то с полгода. Да и как ему было существовать, когда хлеб не рос. Посеяли лён, и тот не уродился. Решили власти, что пусть шишевские работают на лесозаводе. На том и успокоились.

Позже, когда баба Катя жила в Омске, я пытался расспрашивать её о революции и коллективизации. Революцию баба Катя не заметила. В Гражданскую заскочили в Усть-Шиш белые. Зашли к ней во двор, дали крупы, соли. Сказали, чтобы сварила кашу. Не

успела каша взбухнуть, как началась стрельба. Потом во двор вошли красные, съели кашу, облизали ложки, сели на лошадей и уехали. Бабушкин брат Лука Быков был репрессирован. Жил он в Новоягодном, в девяти километрах от Усть-Шиша, работал в школе учителем труда. Жил справно, выстроил себе сам двухэтажный дом.

В Новоягодном организовали два колхоза. Поделили землю, скотину. Но хозяйство вели в чересполосицу, поэтому часто случались потравы. И вот однажды председатель колхоза вызывает к себе троих охотников и приказывает им отстреливать скотину, которая нарушает колхозную границу. Охотникам и невдомёк, чем это может кончиться. Сели они в засаду и застрелили трёх колхозных боровов из супротивного хозяйства. Привезли на лодке к берегу, а втащить не могут. Тут дядя Лука и подвернулся, удружил охотникам несколько фугованных досок, чтобы втащить туши по гладкому настилу на берег. Налетели милицейские власти – бандитизм! Дядю Луку этапом отправили на Колыму, там он и сгинул.

Народ на Шише жил тёмный, даже Бога толком не знали, так, слышали, что он где-то существует, живёт вроде на небе, куда с земли ведёт лестница, а сама земля стоит на трёх слонах, а те – на черепахе, а черепаха плавает в бескрайнем море-океане.

Эти сведения вполне устраивали и меня, и мою бабушку, которая была неграмотной, и ничуть об этом не горевала. В церкви она была всего один раз в жизни на своём венчании, знала «Отче наш» и «Богородице, дева, радуйся», и этих молитв ей вполне хватало. Вообще на темы божественные и церковные баба Катя не говорила. Она знала, что Бог есть, поэтому и жила просто и честно. Уже повзрослев, я заметил, что больше всего о Боге, спасении тараторят люди в вере нетвёрдые и грешники, которых беспокоит вопрос: есть ли прощение, можно ли спастись покаянием? Так до смерти и маются, страшась загробной кары.

В Усть-Шише церкви не было, поэтому все, кто с усмешкой, а большинство и всерьёз, верили в колдовство, в русалок, леших, домовых, кикимор, лихоманку, то есть в то, что осталось в народном сознании ещё с языческих времён великих славянских богов, – Велеса и Перуна. Конечно, в каждом доме были иконы, но, молясь Христу, люди не забывали и всяких анчуток. По приезду на Шиш мне мои сверстники много чего порассказывали о проделках этой нечисти, чем произвели на меня тягостное впечатление. Но вскоре я свыкся с существованием неведомых мне существ и барахтался в речке, не беспокоясь, что меня утянет русалка, ходил в лес, где и правда была уйма жутковатых на вид коряг, замшелых пней и чавкающих болотин.

Лес, вернее, тайга, начинался сразу за лягой. Водились там гадюки, но на глаза они попадались редко, и роились тучи мошки и комаров. Я бывал там каждый вечер, когда загонял домой корову. Овцы и свиньи всё лето были на подножном корму.

Тайга начиналась с буйных зарослей папоротника, и вот с ним мне до сих пор памятна одна история, произошедшая со мной вскоре после приезда,

где-то в конце июня, в день Ивана-Купалы. Взрослые уже не отмечали этот праздник, но ребятня и несемейная молодёжь его праздновали весело. Жгли костры, прыгали через огонь, пели песни. Ближе к полуночи все двинулись, выстроившись цепью, в лес. Я тоже пошёл вместе со всеми, до рези в глазах вглядываясь в темноту, чтобы увидеть цветущий папоротник. Летние ночи на Севере коротки, и мы пробродили по зарослям до рассвета, но так ничего и не нашли. Говорят, что цветок папоротника должен светиться. В ночном лесу было много светляков, но заветного цветка, будто бы открывающего клад, не было. А я его искал очень старательно, как и все. Но в руки он нам не дался. Что это был за клад?.. Сейчас я вспоминаю эту ночь с тёплой грустью о том маленьком человеке, каким я был в свои восемь невозвратимых лет.

Конечно, религиозного воспитания у меня не было никакого. Я не знал священной истории лет до тридцати, а пока не купил по случаю Библию. Изобразительное искусство, литература давали мне представление о самых известных библейских сюжетах, но Слово Божие было мне недоступно. Бог был для людей чем-то запретным. Говорить о нём, проповедовать имя Божье строжайше запрещалось, а вот материться, упоминая имя творца, не возбранялось. Впрочем, о гонении на церковь и Бога уже написано достаточно много, а в те годы я был защищён как от веры, так и от безверия... Многообразие и величие мира постигалось мной самостоятельно, входило в душу само собой, и в этом, как я сейчас понимаю, было многое от язычества, от природной склонности человека одушевлять окружающий его мир. Для меня не существовало неживого мира, всё было живым, дышащим, трепетным. Никто не учил меня тому, что весна - это рождение всего сущего, я это понимал сам, когда смотрел на зелень листвы и травы, на хлопочущих возле гнёзд скворцов, на речку, сбрасывающую ледяной панцирь, на ручьи, устремляющиеся к ней с возвышенностей. Для меня это было великое время накопления чувств, душестроительство, которое совершалось само по себе, без назиданий со стороны взрослых.

Конечно, если бы в детстве мне сунули в руки скрипку, я бы научился на ней играть. Но сколько было пропущено из-за этих занятий чего-то такого, что прозевать человеку нельзя. Я сильно подозреваю, что абсолютное большинство людей не испытывали детской воли где-то между пятью и десятью годами, потому что их начинали чему-то учить, навязывать пристрастия, а ещё хуже – бить ремнём и ставить в угол.

О чём я думал в то время, кроме забав?.. Помню только одно: я выстроил теорию, что сначала появились самые маленькие животные, затем те, что побольше, затем большие и т. д. Это первая ерунда, что пришла мне в голову, а сколько их потом было – смешных ребячьих выдумок, всего и не упомнишь.

Собственно, рек вокруг Усть-Шиша было три: Иртыш, Шиш и Луговая, которая вливалась в Шиш в самом его устье. Шиш был рекой лесосплавной, перегороженный и разделённый повдоль бонами. Ближе к берегу накапливались бракованные брёвна на дрова, дальше сортировался лес по размеру. На следующий день я с изумлением и испугом увидел, как горбатенькая старушонка бодро пересекала

реку, наступая с одного бревна на другое. Я ждал, что она оступится и упадёт, но этого не случилось, бабка добежала до противоположного берега и скрылась в переулке. Так я увидел ходьбу или перебежку «по моли», то есть по брёвнам, — способ переправы, которым все в деревне владели мастерски. Сплавщики могли находиться на вертком бревне сколько угодно, лишь бы оно не тонуло под их тяжестью. Бывалые ухари бегали по брёвнышкам толщиной в руку. Я тоже со временем научился бегать «по моли», правда, удалось это мне не сразу, не один раз срывался в холодную воду, пугался до визга, но со временем освоился.

Работать мама устроилась на сортировку брёвен. Ей, маленькой, слабенькой, за копеечную зарплату приходилось, зацепив багром за бревно, направлять его в нужную сторону. Наверное, она спрашивала себя, зачем приехала сюда, что её приманило. Мыслей её я не знал, но они, наверняка, были горькие.

Я же целые дни проводил на речке, познакомился с одногодками, и мы рыбачили. Правда, не помню, чтобы я поймал хоть раз больше пяти – десяти окуньков ли подъязков, но рыбалка меня увлекала. Ловили на самодельную блесну, фабричных не было. Наши блесны были сделаны из чайных ложек. Один конец привязывался к леске, к другому - крючок-тройчатка. Держишь в руках удилище и ходишь по бонам, поводя леской в разные стороны. Иногда подъязки брали, иногда целый день проходишь и ни одной поклёвки. Я ведь был неук в рыбалке. С дядей Ваней, тётей Надей, соседями ездили неводить на Иртыш, потому что закинуть невод в Шише было нельзя, его дно было усыпано топляками и, что ещё более опасно, полузатонувшими стволами деревьев, которые плыли на глубине. По Луговой и её заводям шарили с бреднем, брали много рыбы. Приезжаем, а наши бабушка, мама, мои младшие двоюродные братья Лёнька и Витька стоят на берегу, ожидают. Бабушка, как увидит полную лодку рыбы, так сразу и вздохнёт: «Опять всю ночь чистить её проклятущую, язви её!..» Но как я уже говорил, соседи выручали бабушку: разбирали рыбу по домам. Я с ними со всеми перезнакомился. Бабушка Шишкина, махонькая, согнутая под прямым углом в пояснице, была той самой, что я увидел на реке на следующее утро после приезда. Я её побаивался, но както услышал, что у неё было двенадцать сыновей, и все погибли в Отечественную. Вот сейчас пишу эти строки, а на сердце неизбывная грусть. А каково было бабке Шишкиной получать похоронки? За что и кому она заплатила столь страшной ценой?.. Уж, наверное, не за то, чтобы Россия заканчивалась, как сейчас, за Смоленском!...

У бабушки на войне погиб сын Николай. От него осталась крохотная фотокарточка, с которой впоследствии мама заказала фотопортрет. Написал стихотворение «Портрет» и я. Дядя Николай был, видимо, способным. После семилетки где-то ещё учился. Потом его призвали и направили в зенитное училище. В 1942 году пришло известие, что он пропал без вести. Вот такая формулировка. А матери ждали, ждали пропавших сыновей, ждали до самой смерти. Ждала и бабушка, но не дождалась... После войны к ней приезжал сослуживец дяди Николая и

рассказал, что эшелон, в котором они после училища ехали на фронт, разбомбили немцы, и Николай погиб. Наверное, так и было.

Дядю Ваню призвали перед войной в Дальневосточную особую армию. Там он пробыл всю войну, затем пару раз выстрелил в сторону японцев. Пришёл из армии поперёк себя толще, отъелся на сое, а в войну вспоминал, доходили до голода. Он женился поздно, взял из другой деревни Надежду – мордатенькую сбитую деваху. Сёстры невзлюбили её с первого взгляда: грязнуля, лентяйка, дурочка. Особенно негодовала тётя Шура, уже разведёнка, от которой сбежал Иван Малюкин, отец Лёньки. Наверное, огорчившись братовой женитьбой, она умотала в Кузбасс к моей маме. Больше всего мешают жить людям мелкие пакости, которые мы с тайным удовольствием делаем своим ближним.

На Петров день дядя Ваня, большой любитель дурацких шуток, чуть не лишил меня жизни: влил в меня две полулитровые кружки крепчайшей браги, настоянной на хмеле. Я выбежал из дома, упал в буерак и утонул бы в нём, но меня спас какой-то прохожий.

Лето пролетело одним днём. После Ильина дня с севера пошли тяжёлые низкие тучи, Ледовитый океан дохнул предзимней стылостью на наши края, полетела листва и зарядили дожди... Маму на работе сократили, и она подумывала об отъезде, чтобы не застрять на Шише на всю восьмимесячную зиму. И тут вдруг приехала мамка старая, быстробыстро собрала наши вещички и увезла нас собой в Копай. На пароходе мамка старая не отпускала меня ни на шаг, всё не могла наглядеться на своё золотце. Я тоже был рад своей любимой тётушке. Капитан парохода оказался старым знакомым мамки старой – зимовал ещё до войны на Шише, знал там многих. Они подолгу разговаривали, а я бегал по самой верхней палубе, осматривал рулевую рубку, надоедал со всякими вопросами, но мне разрешалось всё. Уважение к мамке старой было столь велико, что пароход сделал незапланированную остановку возле Красного Яра, и мы пешком часа за два добрались до землянки в Копае. Шиш, тайга сразу както отодвинулись, но схоронились в ребячьем сердце навсегда.

Голубое небо. Белый пароход. Дыма гибкий стебель из трубы встаёт. Хлюпают колёса. Плещется вода. У речного взвоза хохочет ребятня.

С палубы я слышу звонкий смех и крик. Но себя не вижу юным среди них. Чёрными клубами в небо дым встаёт. И уносит память белый пароход.

Жизнь копайская

В детстве я любил подолгу смотреть на небо, на воду широкой старицы Иртыша, вслушиваться в стенания вьюги, завывание ветра в печной трубе, скрипы деревьев за окном и шум листьев. Во мне постоянно рождались какие-то музыкальные мотивы и, возможно, я мог бы стать музыкантом, но кроме балалайки и гармошек «двадцать пять на

двадцать пять» в округе не было никаких музыкальных инструментов.

Из всех своих братьев и сестёр, а их выжило из четырнадцати десятеро, только мама закончила семь классов и год проучилась в бухгалтерском техникуме. Остальные были малограмотные, а мамка старая вообще не знала азбуки. Учёба в материнской родне шла туго, даже сейчас я, кажется, единственный, кто имеет высшее образование. Остальные – шахтёры, лесорубы, механизаторы, словом, достойные люди со своим определённым местом в жизни. Они, конечно, книг не читали, а мама была запойной читательницей. В самом начале пятидесятых годов советские писатели создавали нетленки социалистического реализма под Шолохова. Каждый год появлялись объёмистые романы в несколько томов, такие как «Семья Рубанюк», «Даурия», «Белая берёза», «Сибирь» и прочие творения. Всё это мама читала и, что характерно, вслух, потому что наша землянка была своеобразным клубом для «красноармеек» – вдов солдат, погибших на Отечественной войне.

И вот, бывало, соберутся вечером у нас тричетыре вдовы, мама протрёт стеклянный колпак «десятилинейки» — керосиновой лампы, поправит фитиль, и начинается читка. Слушательницы сидят, не шелохнувшись, впитывают незамысловатое повествование, иногда, громко смеются, иногда в особенно чувствительных местах, краешками головных платков утирают набежавшие слёзы. И какая в людях жила тогда непоколебимая вера, что всё написанное — правда! Какой тогда был честный и чистый народ в своей основе! И всё это за последние каких-нибудь двадцать — тридцать лет было в нём изгажено!

Мама читала громко и выразительно. Увлекшись, представляла действие романа в лицах, а я, свернувшись на деревянном самодельном диванчике калачиком, слушал, нет, жадно впитывал происходившие на страницах романа события. Конечно, сейчас можно сомневаться, то ли я слушал. Может быть полезнее для меня в это время было учиться латыни, древнегреческому, но где всё это было взять в сибирской глухомани? Вот и вырос я одноязычным, о чём можно, конечно, пожалеть, но страдать вряд ли стоит.

Я выучился читать быстро, едва ли не в один присест. Впервые я свою грамотность продемонстрировал мамке старой в Омске. Мы приехали с ней туда в гости к тёте Дусе и моей двоюродной сестре Жене, которые жили на окраине города и работали поварами в охране политического лагеря. Помнится, мы шли с мамкой старой по центральной улице Ленина, и я читал по складам: «Продукты», «Вино», «Овощи» и т. д.

Своих книг по бедности у нас не было. Я брал их в библиотеке. Почему-то сразу мне больше всего понравилась поэзия, может быть потому, что запоминал очень долгое время стихи с первого прочтения. Уже в двадцать один год в армии я выучил наизусть всего «Евгения Онегина» всего за три прочтения. Впоследствии, начав писать стихи всерьёз, я долго подавлял в себе эту способность, которая очень мне мешала работать: написанное вчера стихотворение никак не уходило, торчало в мозгах

занозой. Постепенно я выучился его сразу забывать после того, как поставлена последняя точка. А может быть, это стало получаться потому, что я научился относиться к поэзии трезвее. Владимир Соколов сказал: «Я думал это охлажденье, а это было мастерство».

Но не будем о мастерстве. Я всегда считал и считаю, что это понятие к поэзии имеет самое незначительное отношение, всё-таки поэзия – это не деланье табуреток и не тачание сапог, иногда поэт выдохнет в один миг такое, что потом всю жизнь он и его критические читатели в недоумении чешут затылок: как это у него получилось. Проза нуждается в мастерстве, живопись, исполнители, актёры, а музыка и поэзия, как не крути, это божий дар и таковыми пребудут всегда. И действительно, какое мастерство в гётевском «подожди немного, отдохнёшь и ты...»? А вот глубина поэтической мысли такая, что мороз по коже.

Мамка старая была большая любительница стихов и поощряла мою тягу к ним самым прозаическим образом – дешёвыми карамельками, которые называла смутьянками. Я читал наизусть стихотворение, а взамен получал кулёчки конфет. Тогда я был сладкоежкой, не знал ни горького, ни кислого... Навсегда запомнилось: мама с мамкой старой окучивают картошку, а я, стоя почти по пояс в высокой ботве, читаю им наизусть первую главу «Кому на Руси жить хорошо».

В таком возрасте очень многие начинают писать стихи... Удивительно, но я не ощущал к писательству никакого стремления. И в детстве, и в юности я не написал ни одной строчки. Худо это или хорошо, судить не могу, но именно так. Это самый серьёзный парадокс моей творческой биографии, который для меня необъясним и даже загадочен. Этот вопрос без ответа, позволяющий делать самые фантастические выводы, однако в чём будет польза для других, если этот случай будет разгадан? Я никогда не относился к стихам как к «деланью» по Маяковскому, и, слава богу. Если что-то у меня и вышло стоящее, то этому я в самой малой степени обязан себе, всё вымолвил Некто, а я просто озвучил. Вот и всё. Такова, по моему убеждению, всякая истинная поэзия. А выстраивание творческого пути, поисков, накапливание литературного мастерства всё это литературоведческий бред, который интересен только авторам различных критик, эссе, творческих биографий.

Мой поэтический опыт говорит о том, что стихи пишутся тогда, «когда поэт слышит музыку времени» (А. Блок), когда он ощущает связь, иногда почти телесную, связь с той неизречённой силой, которая движет его рукой. Но вот наступает момент, и всё это рушится, и поэт умер, хотя физически он жив. Но это уже всего лишь телесная оболочка без духовного содержания. И бессмысленно пытаться как-то воздействовать на эту, без преувеличения, божественную связь. Поэтому в поэзии есть многое от религии, а поэт – смиренный богомолец или еретик в этом сияющем храме. Это придаёт стихам величие, ныне почти утраченное: стихи нашего времени потеряли обаяние молитв. Да и последний век звучал какофонически. И сейчас можно сказать, что поэзия умерла. И это неудивительно, потому что в поэзии умер Бог, а всё, что написано по инерции в XX веке, – всего лишь тепло от остывающих углей сгоревшего костра. Сейчас слова холодны как пепел, а вместо мыслей мировых у человека остался только аппетит.

Своим довольно неплохим для нашего времени образованием я обязан не школе, где мне пришлось нормально учиться лишь восемь лет, а только себе, своей неутолимой тяге к чтению. Из школьных предметов мне нравились география и история, русского языка я панически боялся, потому что никак до сих пор не могу совладать с синтаксисом. В прозе, в стихах вроде расставляю знаки препинания без ошибок. А в Литинституте диктанты были для меня очередным стихийным бедствием. По своей тогдашней наивности я считал, что все писатели должны быть безукоризненно грамотными людьми. Оказалось, это далеко нет так.

Но беда писателей нашего времени не в слабой грамотности, а в том, что они, в своем подавляющем большинстве, не знают и не любят литературу. Взять хотя бы нашу Ульяновскую писательскую организацию, где сейчас числится около полусотни писателей. Оставим оценку их творчества, но поразительно, что многие не знают русскую литературу, они искренне считают, что достаточно изучили Пушкина, Гоголя, Достоевского, Л. Толстого, Чехова в институте, и не потрудились их перечитать писательским глазом. Впрочем, это их дело.

Постепенно география и история заслонили от меня поэзию. Лет до четырнадцати я буквально бредил великими географическими открытиями, древним Римом и древней Грецией. Начиналось моё отрочество, наиболее воинственная и мечтательная пора в жизни человека, и я грезил героями Гомера, тремястами спартанцами во главе с царём Леонидом, Спартаком, Магелланом, Куком, Дрейком, нашими первооткрывателями дальневосточных российских окраин – Берингом, Дежневым, Невельским. Я мечтал стать кораблестроителем, и это в краях, где до ближайшего моря по меньшей мере четыре тысячи километров, но отрочество тем и прекрасно, что оно удивительно, и человек, пребывая в нём, как правило, не совершает таких поступков, о которых потом сожалеет всю жизнь.

У меня была книга нашего русского мореплавателя – капитана Головнина – о его путешествии вокруг мыса Доброй Надежды к Аляске, снабжённая великолепными рисунками. Увидев изображение парусного судна, я был пленён им и всю зиму делал модель парусника, причём полнопарусного, с фоком, гротом и бизанью – мачтами и набором парусов. Умения и знаний, как делать судомодели, у меня не было, но я что-то сделал, правда, не испытывал его на воде, поставил на окно и к морю охладел. И сейчас оно меня не трогает. Много воды, а человек живёт на земле.

Посёлок, где я прожил почти восемь лет начиная с семилетнего возраста, назывался Копай, потому что в подавляющем большинстве он состоял из землянок. Рубленых домов не было, только у тех немногих мужиков, что вернулись с войны живыми, стояли насыпные избы. Вдовы с ребятнёй, все до одной, жили в землянках. Я с мамой, мамкой старой и её дочерью Валей жил тоже в землянке. Она

возвышалась над землёй не более, чем на полтора метра, и была сложена из дерновых пластов, щедро обмазанных по бокам глиной, замешанной на воде и конском навозе. Крыша была тоже пластяной и мазаной глиной. Окна находились на уровне земли, а стены от окна вниз были стенами земляной ямы, тоже обмазанные глиной и побеленные извёсткой. Были в землянке печка, сени и дровяной сарай.

Наше жилище было крохотным, но я жил в нём, нисколько не ощущая тесноты и низкого потолка. Было радио, сначала картонная тарелка, потом откуда-то появился приёмник в виде ящика. Зимой, когда мама не читала вслух, мы слушали радиоспектакли «Театр у микрофона». Так, я познакомился с драматургической классикой, в первую очередь с Шекспиром, с «Соловьём» Алябьева, услышал сладкоголосых Лемешева, Бунчикова, Нечаева, нашего омского певца Леонида Шороху, который обладал своеобразным и запоминающимся голосом. Радио рассказало мне о смерти Сталина, целине. Оно было единственной отдушиной в большом и неведомом мире, который поджидал подростка из Копая.

До 1954 года я раза три болел воспалением лёгких. Это были очень тяжёлые затяжные болезни. Кажется, в 1953 году я заболел весной, когда ещё снег не сошёл, и лето провёл в полнейшем беспамятстве. Очнулся, когда уже полетели первые снежные мухи. Часто меня мучила ангина, от которой я избавился в 1966 году, вырезав гланды.

В первом классе, ещё зимой, когда едва упали две-три капели, мы с мамкой старой стали мечтать о том, как сделаем скворечник.

– Я принесу заготовки из цеха, – говорила мамка старая. – У нас как раз сейчас идёт фугованная доска, как шёлк, гладкая. А дома сколотим.

Фугованная доска – это доска с идеально гладкой поверхностью, обработанная фуганком.

В начале марта эти доски появились в нашей землянке, и мамка старая тут же сколотила скворечник гвоздями. Припасла она и берёзовую жердь, на которой скворечник был поднят над крышей.

Весна пришла в один день. На улице воды – вброд, сугробы осели. На тополе и берёзе возле дома напыжились почки, и мы решили, что пора скворечник поднимать, ибо шла последняя неделя марта.

Мы возились со скворечником, и тут подошёл к нам сосед. Посмотрел и говорит:

- Не будут у вас жить скворцы...
- Это ж почему? вскинулась мамка старая.
- А потому: доски у вас гладкие. Скворец залезет внутрь, а обратно будет скользить коготками, а ему цепляться нужно. Потом, скворечник проконопатить надо, чтобы в нём темно было...
- Да... растерялась мамка старая. А я думала, как красивше...
- Не расстраивайся. Я сейчас свой принесу у меня их штук пять понаделано. Поставим твой и мой. Посмотрим, где заживут скворцы.

Поставили два скворечника. Фугованный подняли над крышей, а соседский воткнули в угол огорода. Только закончили работу, как налетели всем кагалом воробьи (откуда только взялись!) и давай драться за комфортабельной жильё.

– Пускай воюют, – усмехнулся сосед. – Скворец, если выберет себе скворечник, живо их оттуда повышвыривает.

Прилёт скворцов я проглядел. Иду из школы и вижу, что вокруг соседского скворечника бушует птичья драка. Летит мусор из домика, летят в разные стороны взъерошенные от полученной взбучки воробьи. Скворец выпрыгнул из лаза на приступку, выбросил из клюва последний кусочек ваты, принесённый воробьями, огляделся, поднял голову и запел. Он выщелкивал один звук за другим, выводил трели и рулады и, наверное, изнемог бы в своём усердии, но прилетела его верная подруга, скворчиха.

Они разом взметнулись в воздух, исчезли, но уже через минуту явились назад с какими-то веточками в клюве. Скворцы приняли скворечник и начали вить гнездо.

А наш поблескивающий гладкими боками скворечник, который мы сделали с мамкой старой, надолго остался стоять пустым. Даже воробьи в нём не поселились, хотя он был красив, как настоящий птичий дворец.

Однажды мамка старая принесла что-то в вязаном платке и, улыбаясь, спросила:

– Вот, всё у нас в доме есть: и кровать с панцирной сеткой, и стол, и табуретки, а чего нет?..

Мы стали гадать, чего не хватает в землянке для полной меблировки. Гадали, пока мамка старая не развернула платок и не поставила на пол крохотного котёнка. Он был ещё так мал, что покачивался на своих кривоватых лапках, а его глаза ещё не приобрели определённого цвета.

– Рыжик!.. – восторженно завопил я.

Рыжик прижился в землянке, освоил все тёплые и светлые места, в первую очередь печку, учил со мной уроки, спал у меня под боком.

Минула зима. Летом Рыжик освоил окрестности вокруг землянки, даже гонялся за соседскими цыплятами, а к следующей зиме заматерел, превратившись обличьем и повадками в настоящего хищника.

Начались позёмки, дверь в сенях стали прикрывать, и Рыжик заимел привычку стучать лапой в окно, благо, что оно находилось на уровне земли. Глубокая ночь, все спят, и тут в окно стук: «Открывайте, хозяин пришёл!» С руганью его запускали в землянку, он начинал в потёмках проверять чугунки и кастрюли.

– Ax, язви твою душу! – ругалась мамка старая и, схватив полотенце, загоняла кота под кровать.

Разозлились на Рыжика, перестали его пускать ночью в дом, пускай, дескать, замерзнёт. Ушёл Рыжик, бродил где-то неделю, явился с отмороженными ушами и хвостом. На следующую зиму походы Рыжика по ночной военной тропе возобновились. Правда, стучать в окно он перестал, но являлся какой-то засаленный, ну, настоящий бомж. Где он по ночам отирался, мы не знали, да и мест для выживания в Копае не было – ни котельной, ни теплосетей.

Выяснилось всё как-то утром. Мама стала открывать печную трубу, а она у нас закрывалась вьюшкой. Словом, открыла конфорку, а оттуда, из печной трубы, чудо-юдо перемазанное – Рыжик. В трубе он и спал, на горячей вьюшке.

Отмыли его, уложили на печку. Мама и мамка старая сели на диванчик возле печки и вяжут. Вдруг на них сверху полилось.

– Рыжик! Что ты делаешь, гад!...

А он от крика еле проснулся, умаялся бедняга, открыл один глаз.

Жил у нас Рыжик лет пять, потом исчез...

Жил я не скучно. Никаких особых внутренних переживаний, о которых так любят распространяться мастера так называемой психологической прозы, я не испытывал. Я был обыкновенной чистой доской, на которой можно было написать, что угодно, но Бог хранил меня от всего скверного, да его и не было в моём окружении. Наши пацаньи игры были бесхитростны: лапта, «чижик», «бить бежать», «зоска», позднее – футбол, волейбол, бег на лыжах, санки. Дни за днями проносились стремительной чередой, и сейчас я вряд ли припомню что-нибудь значительное то, что определённо повлияло на мою будущность. Я просто рос, как растёт дерево. Жизнь моя не знала никаких сложностей, меня не ругали, не били, не унижали, более того, меня все любили.

Меня просто и чисто одевали, поили от пуза молоком, кормили здоровой пищей. И я, помнится, на тринадцатом году сразу вытянулся сантиметров на двадцать пять, стал большеголовым худым подростком, почти юношей.

Конечно, меня можно было принять за маменькина сынка, но что такое маменькин сынок в тех условиях, где я жил? Начиная лет с восьми я копал огород под картошку, пилил с матерью дрова, колол их один и сносил в сарай. В девять лет наш сосед выпросил меня у матери, чтобы я помог ему заготовить берёзовые жерди для строительства хаты. Это был скупой и негожий мужичонка – обещал мне подарить рубаху, но так и не подарил. Мы с ним двое суток провели в лесу, заготавливая берёзовые слеги, ночевали в промокших от дождя копнах, но я даже не заработал насморк. После шестого класса я месяц работал на кирпичном заводе, а эта работа не для маменькиных сынков.

Десятилетнего меня мой деверь Гошка Кирдяшкин вовлёк в самовольную порубку и кражу леса. Он жил у нас и задумал строить свою землянку. Для этого нужны были жерди. И вот поздней осенью я с тремя мужиками ночью оказался в березняке, конечно, не понимая опасности предприятия. Гошка и его приятели понимали, поэтому торопились скорее нагрузить машину спиленными и очищенными от сучков берёзами и поскорее уехать. Мужики пилили, а я обрубал сучки. Было холодно, и на обратном пути все, кто сидел в кузове, замёрзли до озноба. Ворованный лес спрятали под соломой, и зашли к нам в землянку. Мужики стали пить водку, быстро опьянели. Заставили и меня выпить целый стакан ледяной водки. Я обеспамятел и наутро проснулся с жестокой ангиной.

Старое русло Иртыша простиралось дугой километров на двадцать. На его левом высоком берегу вольготно расселились деревня Красный Яр, молочно-консервный завод, барачный посёлок завода,

Копай, затем деревни Москали и Малороссы, которые шли друг за другом почти без всякого перерыва. Весной старица наполнялась водой, разливалась широко и неоглядно, затопляла противоположный пологий низкий берег, где было множество низин. Вода простиралась за горизонт, и какое-то время другого берега не было видно. Затем она спадала, а в июле, когда начинали таять снега на Алтае, вновь поднималась, но уже не так сильно, как при весеннем разливе. На старице как раз против Копая был очень большой остров, владение бесчисленных стай домашних гусей, которых хозяева выпускали весной и загоняли домой только поздней осенью. После гусей весь остров казался белым от выпавших перьев и пуха. Мы с мамой ходили собирать их и набирали очень много для подушек и перины.

От землянки до старицы не было и пяти минут ходу. Едва сходил лёд, мы, копайская ребятня, уже все были возле воды. Купались, и простуда не брала, а в июне, июле почти не вылазили из воды. Была и рыбалка, довольно хорошая. В старице обильно водились окуни, щука, ёрш и другая рыба, которую скопом называли чебаками. Впрочем, рыбаком я был никудышным из-за своей непоседливости. А вот неводить, пройтись с бреднем мне нравилось: улов был виден сразу. Это, наверное, потому, что в тайге, на Шише, почти не рыбачили удочкой, и ловили рыбу сетями в огромных количествах. Я это видел в восемь лет, поэтому рыбалка в Копае меня не удивляла.

Сейчас вот нет проходу от детского сквернословия. Поглядишь на матерящегося малютку, и кажется, что не непотребные слова вылетают из детских губ, а выпрыгивают противные ядовитые жабы. Мы, к счастью, этого не знали. Не знали и мелкого воровства, потому что в Копае никогда этого не водилось. У нас, по-моему, даже не было замка на входной двери. И ничего никогда не пропало. Конечно, несчастья или даже трагедии случались. Как-то почти у нашей землянки грузовик сбил насмерть какогото прохожего мужика. Я впервые увидел мёртвого человека, и до сих пор он у меня перед глазами: лежит в глубокой жёсткой колее, грязь, кровь, противный рвотный запах – в момент гибели этот человек обмарался.

В начале пятидесятых годов в нашей округе была уйма волков, которые порой нападали и на людей. Отчётливо помню, что несколько человек стали их жертвами.

– Волк!.. Волк!.. Волка везут...

Эти крики заставили меня отбросить в сторону учебник, надеть стёганку и выскочить за ворота. По узкой, подпёртой со всех сторон сугробами, дороге ехали розвальни, на которых стояла баба с вилами, а следом спешили соседи. Сани проехали мимо меня, но волка я не увидел, он был завален соломой. Заводская лошадёнка скользила на некованых копытах и храпела. Но возница, школьная уборщица Марья, крепко держала в руках вожжи. На безмужичьи, за войну она научилась справляться и с норовистым конём, и с племенным быком. И вообще была бой-баба!

Розвальни остановились возле её насыпухи. Окоченевшего на морозе волка протащили в избу, а

мне опять не удалось его увидеть: оттолкнули в снег, и, пока я пурхался в сугробе, зверя на улице уже не было. Я протолкнулся в сени, но они были набиты людьми, и мне осталось ждать своей очереди.

Первыми вышли мужики Иван Полев и Виктор Петров. Они остановились на крыльце, скрутили по «козьей ножке» и закурили.

- Повезло Марье! Бирюк-то здоровенный! Он, наверное, спал в копне, а она его всполошила...
- Точно, испугался! Как прыгнул, а Марья, не будь дура, вилы подставила...
- Так и сел на них всем брюхом... Теперь ей за волка премия выходит полтыщщи!..

Наконец, в избе народу стало поменьше, и я протиснулся к широкой скамье, на которой лежал волк. Меня сразу поразило, что он вовсе не был серым, каким его описывают в сказках, а скорее рыжеватым, широкогрудым с толстыми лапами и прямым хвостом. Смерть застала его в момент свирепого оскала, и хорошо были видны клыки, слегка желтоватые и мощные, способные разгрызть берцовую кость быка. Сейчас он был не опасен, но всё равно на меня повеяло такой жутью, что моё ребячье сердечко сжалось, а потом испуганно затрепыхалось, как синичий хвост. Запомнил я и глаза волка, льдистого цвета, в которых «зайчиками» отражался свет отвисевшей под потолком керосиновой лампы.

Зимой была главная забота – делать лыжи. Покупных у меня никогда не было. Мамка старая приносила с работы несколько ровных досочек. В печке мы докрасна раскаливали кочергу, затем проводили, выжигая, на скользящей поверхности полосу, иногда довольно ровную. Затем наступал самый ответственный момент – загиб концов лыж. Для этого один край досок долго распаривали в кипящей воде, затем изгибали и закрепляли изгиб в нужном положении между двух деревяшек. Брезентовое или кожаное крепление прибивали гвоздиками. За зиму я ломал не меньше пяти пар лыж. Конечно, столько лыж купить в магазине, если бы они только тогда были в продаже, у мамы возможности не было.

Катались с высокого берега старицы, прыгали с трамплина. Иногда я ходил на своих самоделках в ближайший берёзовый колок, ставил там петли на зайцев, но, конечно же, ни один косой не попался, и слава Богу. Сосед дядя Вася неплохой охотник – както раз мне рассказал, что заяц от боли плачет, как малое дитя, и я ставить петли перестал.

Коньки у меня появились лет в восемь, обыкновенные «снегурочки». Привязывать их была морока. Тянешь, тянешь ремешки, прикручиваешь палочкой, а только выйдешь на улицу, и враз разъезжаются. Иногда помогал мне привязывать коньки мой родной дядя Пётр Иосифович, фронтовик и танкист, уцелевший на войне. А он её прошел от Сталинграда до Праги, а закончил в Китае. Демобилизовали его только в 1952 году, он прослужил 10 лет срочной службы, принёс с войны пригоршню солдатских медалей и гриву рыжеватых волос до плеч, что было привилегией ветеранов.

С дядей Петей в 1954 году произошла история, о которой следует упомянуть. Он работал на консервзаводе, в цехе варки сгущёнки, так бы и проработал

на своей «сладкой» должности всю жизнь, но его жена Варвара отправила его в Омск за покупками. Непьющий и некурящий дядя Петя уехал и пропал. И, что примечательно, никто, ни жена, ни родные сёстры, этим не обеспокоились. Прошло два месяца – от дяди Пети ни слуху, ни духу. Наконец пришло от него письмо, которое всё объяснило. В омском трамвае дядя встретил своего бывшего командира – полковника, танкового комбрига. Того назначили директором целинного совхоза, и он увлёк дядю Петю, бывшего механика-водителя, на юг омской области, в деревню Патровку на Иртыше. Дело было весной, дядя Петя сразу сел за рычаги трактора, и уже после сева, получив квартиру и подъёмные, вызвал к себе жену. Так он там и остался на всю жизнь. Варвара погибла в 80-х годах, попав рукой в какую-то машину на птичнике. Мои двоюродные сёстры Таня и Галя выросли и живы. Вот и вся, в нескольких словах, судьба моего кровного родственника, которого я очень любил не только за доброту, но и из-за того, что в нашем бабьем царстве он был единственным мужиком и, наверное, чем-то на меня повлиял.

Другого своего дядю, Леонида Осиповича, тихоокеанского моряка, затем кузбасского забойщика, шахтёра, я знал мало. Он приезжал к нам со своей женой Ульяной и двумя дочками в отпуск вместе с мужем моей младшей тётки Вали - Владимиром, и они с ним очень резво отдыхали - за день выпивали две бутылки водки и ведро пива. Дядя Лёня умер относительно молодым, лет пятидесяти, а Володя, сухой, долгий и жилистый мужик, жив, помоему, до сих пор, и ничего его не берёт: ни водка, ни одеколон, ни стеклоочиститель. Был у меня ещё один дядя – Иван Осипович, живший в Усть-Шише. Ещё один мой дядя – Николай – погиб на фронте и в честь него и тоже погибшего моего дяди Николая с отцовской стороны меня назвали именем святого чудотворца.

Тетя Валя была очень симпатичной в молодости, но в семейной жизни ей не везло. У неё было два или три мужа, с ними она быстро расходилась, пока к ней не прибился пьющий, но хозяйственный Владимир, который, по её словам, тащил в дом всё, что плохо лежит. Тётя Дуся была старшей из маминых сестёр. Это была высокая статная женщина с какой-то своей тёмной историей замужества. Дочь её Женя была большая рукодельница и астматик. Она умерла, не дожив и до пятидесяти лет. Детей у неё не было. Особо следует сказать о тёте Шуре, величественной своей статью женщине, большой гордячке и всезнайке. На кирпичном заводе, где она работала обжигальщицей, её наградили орденом «Знак Почёта», и это её окончательно возгордило. Муж от неё, по-моему, сбежал, оставив ей сына Леонида, моложе меня на четыре года. Тётя Шура, как мне кажется, заласкала его в детстве: Лёнька вырос совершенным рохлей, имея способности, не учился, хотя мог бы стать неплохим художником. Тётя Шура не подпускала сына к девчатам. Только он начнёт с какой-нибудь дружить, она всё делает, чтобы Лёнька её бросил. Вот и добросался – остался холостяком. Потом, спохватившись, тётя Шура предлагала ему невест и с квартирой, и с машиной, и с готовыми детьми, а Лёнька лениво говорил, что ему и так хорошо.

Все тётки и дядья были людьми рослыми, блондинами в рыжину, и только мама и мамка старая не удались ростом. И ещё тётя Валя и тётя Наташа были чернявыми, говорят, что в свою бабушку, а остальные – в рыжего попа, как шутили они сами.

Так вот, у бабы Кати, как я уже говорил, было четырнадцать детей, а у её дочерей и сыновей один, от силы двое. Посчитать, так она одна больше нарожала, чем все её выжившие дети. Они произвели на свет всего 12 ребятишек. Вот так после Отечественной войны началось резкое сокращение рождаемости. И всё потому, что народ оторвался от земли, стало кружить и носить его по стране как перекати-поле.

Мамка старая сразу влюбилась в меня беспамятно, потому что она по своей натуре всегда была ребёнком – открытым, добрым и очень честным человеком, а взрослость всегда предполагает в нас известную долю хитрецы, того, что называется «себе на уме», изворотливости и себялюбия.

Незадолго до нашего приезда в Копай у мамки старой случилось ужасное - страшной и нелепой смертью погиб её муж Павел. Он был ранен на финской войне снайпером-«кукушкой» в пятку. То ли финн такой добрый оказался, то ли шутник или изверг, но дядя Павел получил очень серьёзное ранение в пяточную кость, которое излечивается очень трудно, годами. На Отечественную его не взяли. Когда в Усть-Шише забрали всех мужчин призывного возраста и на паузке (барже) сплавили их в Омск, он остался в деревушке едва не единственным мужиком. Баб погнали на лесозаготовки, и они скоро начали голодать: хлеб на Шише привозной, свой не растёт, скотину власть оприходовала вплоть до курей. Валят бабы лес, а лоси рядом ходят. Но как зверя добыть?

Прослышал дядя Павел про эти невзгоды, сказал жене, чтобы запрягла коня в кошёвку и отвезла его на лесозаготовки. Так и сделали. Выбрал дядя Павел укромное место и схоронился, лёжа в кошёвке. Ходить он не мог, но сумел-таки застрелить одного любопытного сохатого. Мясо пошло в общий котёл.

С дядей Павлом мамка старая жила как у Христа за пазухой. Он работал механиком, хорошо зарабатывал, рыбачил, охотился, во дворе дома мычала и блеяла живность. И вот в 1948 году случилась беда. Уже подмораживало, но утки шли на перелёт дурью, было их видимо-невидимо. Дядя Павел выпросил на работе отгул, завёл мотоцикл и умчался километров за пятьдесят на озеро. Там накачал лодку, сделанную из старых автомобильных камер, бросил в неё ружьё, припасы и поплыл сквозь камыши. Озеро было мелким, но обширным, километров десять в ширину, а глубина не превышала и двух метров. От берега дядя Павел отплыл километра на три, высматривая уток, но вдруг лодка прохудилась, и пошла на дно. Он взял ружьё и побрёл к берегу. Вода доходила ему до подмышек. Не дошёл он до берега совсем немного – остановилось сердце. Когда его нашли, он так и стоял вмёрзшим в молодой лёд.

После его смерти мамка старая стала попивать брагу, хороводиться с солдатками. Говорю об этом с её слов, как она мне рассказывала. Я, говорит, Коленька, если бы не ты, точно от пьянки бы подохла.

А ты меня остановил. Пришёл ты как-то из школы, а я пьяная с флягой браги в обнимку лежу, не могу подняться. Ты начал меня ругать за пьянство, а потом заплакал. С тех пор я в рот хмельного не взяла.

Прожила мамка старая почти девяносто лет, в ясной памяти и в здравом уме. Валя была старше меня на двенадцать лет. Смотрю сейчас на её фотографию, вспоминаю, как она невестилась с подругами. Валя, как и мама её, была простодушна до простодырости, готова была последнюю рубашку с себя отдать. Муж её, Гошка Кирдяшкин, тоже, скорее, у соседа будет работать, чем у себя. После его смерти Валя сошлась с его родным братом, который вернулся из тюрьмы после большущей отсидки за убийство.

Вот такие иногда жизнь выламывает коленца.

Со стороны отца я свою родню почти не знаю. Запомнилось, как лет шести, когда меня украл отец, я какое-то время жил у деда и бабки в деревне Луговой Тальменского района. Дед Карп был высокий и тощий, бабка – поперёк себя толще. Спал я на печи, вот, собственно, и всё.

Жизнь копайская. Кончина Сталина...

Вернувшись из Усть-Шиша мама устроилась работать на водонасосную станцию консервзавода, мамка старая работала в бондарно-ящичном цехе. Мама зарабатывала 360 рублей и ещё подрабатывала шитьём платьев, юбок и блузок для копайских баб. Появилась мода на кружева и вышивки. Вязали скатерти, занавески, подзоры, накидушки на кровати. У меня до сих пор хранится кое-что из этого рукоделья. Вязать я не учился, а вот вышивать – вышивал: и гладью, и простым крестом, и болгарским, может быть похуже, чем вице-губернатор из «Мёртвых душ», но довольно сносно. Однако кропотливая мешкотная работа мне не нравилась, и я забросил рукодельные занятия, благо, что меня к ним никто не понуждал.

Мы с Генкой Полевым, моим соседом и одноклассником, вдруг стали отчаянными вояками: принялись делать сабли, копья, щиты, луки со стрелами. Подобралось ещё с десяток соседских мальчишек, и мы в свободное от школы время сражались друг с другом, строили снежные крепости, заливали их водой и брали атакой эти ледяные укрепления. Шишек и ссадин было много, были и слёзы обиженных, но проходило какое-то время, и мы опять принимались за своё. Взрослые в наши «войны» не вмешивались. У них своих забот был полный рот, а тут ещё назревали невиданные события: судьба беспощадно настигала того, кто был живым богом, Иосифа Виссарионовича Сталина.

Одно чувство владело после смерти вождя всеми людьми от мала до велика, один ножевой вопрос: как дальше будем жить? Смерть Сталина воспринималась народом как вселенская катастрофа, и плач великий стоял на одной шестой части земного шара. Но длилось это недолго, жизнь продолжалась и новые заботы заслонили и эту беду, тем более, что ничего не рухнуло: заводы работали, магазины работали, хлеб и водка были в свободной продаже, а тут ещё послабление вышло с налогами, словом, всё перемололось, и течение русской жизни вошло в своё русло.

О смерти Сталина я услышал на построении всех учеников школы. Наш директор Кузнецов с хрипотцой и слезами в голосе сказал, что умер великий и гениальный вождь трудящихся всего мира. Завыла сторожиха, мы захлюпали носами, стали тереть глаза, а директор нравоучительно произнёс:

– Я хочу подчеркнуть, что если б товарищ Сталин не курил трубку, то он бы ещё прожил лет десять, подумайте, ребята, о своём здоровье, а то в школьный туалет нельзя зайти, от дыма махорки хоть топор вешай...

И так далее в том же духе.

Мама, мамка старая тоже плакали и горевали. Но через какое-то время всё стерлось, всё ушло. А в 1961 году бывшего вождя выкинули из Мавзолея. Так закончилась эпоха Сталина, и началась эпоха распада и гниения великой страны. Время, в котором мне предстояло провести всю свою жизнь, чтобы на её закате увидеть, что стало с Россией.

Ещё зима грозила стужей. Поземка снег свивала в жгут, Когда в честь Сталина из ружей Был погребальный дан салют.

И заревел гудок завода В посёлке, родине моей. И тяжкий гроб вождя народа Был установлен в Мавзолей.

И подобрав шубейки полы, Я шёл по снегу в третий класс. И посреди саманной школы Поспешно выстроили нас.

Внесли портрет, оббитый крепом, И водрузили у перил. И наш директор, глядя слепо, Про смерть вождя заговорил.

И мы со слов его узнали, Что, если б трубку не курил, То друг детей – товарищ Сталин Ещё б десяток лет прожил.

Сказал директор и заплакал. Он старый, добрый был чудак. И полетели с шумом на пол Окурки, спички и табак.

Не повторял директор дважды. Мы сразу бросили курить. Мы все усвоили, что даже Вождей куренье не щадит.

Арестовали Лаврентия Берию, почему-то простой народ приписывал этот подвиг Г. Маленкову. Может быть потому, что он снизил налоги колхозникам и был председателем Совета министров, как и Сталин. Во всяком случае, мне запомнилась такая частушка:

Берия, Берия Вышел из доверия. А товарищ Маленков Надавал ему пинков! Берия был объявлен английским шпионом и расстрелян. И вот что интересно: сейчас на него свалили всю вину за репрессии конца 1930-х годов и почти ничего не говорят про таких выродков, как Г. Ягода и Н. Ежов. Но Берия возглавлял наш атомный проект. Впрочем, что ему сейчас до мнения живущих. Если существует преисподняя, то он, несомненно, там, «но никаких вестей оттуда не поступает к нам сюда». Однако существует писаная история, и Берия в ней – ужасное пугало. Компания по разоблачению Лаврентия Павловича продолжалась недолго, но я, помнится, в ней поучаствовал: булавкой выкалывал глаза на портретах Берии в учебниках и старых газетах.

Наступили времена крутых перемен: прошёл XX съезд КПСС, в заводском клубе прочитали мужикам и бабам письмо ЦК КПСС, у нас в землянке недолгое время, дожидаясь оформления документов, с неделю жил какой-то, выпущенный по чистой, политический зэк. Помню, я с ним о чём-то спорил, что-то доказывал, а он курил папиросу за папиросой и говорил: «Ну, ты, Николай, голова!». У меня от этих похвал чуть ли не павлиний хвост вырастал.

Вскоре деревенским стали выдавать паспорта (нас это не касалось – мама работала на заводе), и началось великое переселение в города. Люди стали раскрепощённее излагать свои мысли, или то, что они за них принимали, словом, все болтали, и много. Появилось увлечение политикой, знания о которой черпались из газет и слухов, но это была особая хмелящая новизна свободы, которая, конечно, была лишь видимостью. Важно другое – осудив культ личности, все безоговорочно верили в то, что Ленин, компартия и цели коммунизма, – вещи святые, и никто не думал, даже в мыслях, на них покушаться.

Но пока мне было всего десять лет, я смотрел на мир доверчивыми и широко распахнутыми глазами, вбирая в себя всё, что было вокруг, как вбирает влагу семя, случайно брошенное в землю. «Дар напрасный, дар случайный», — пушкинская мысль так и не разрешена. Если жизнь — дар случая, отсюда может быть сделан только один вывод — все позволено, и Достоевский на это указал. Если существует предопределение, то человеку на Земле уже не одиноко. Но эти «проклятые вопросы» ещё ожидали меня где-то впереди.

В Копае я был не единственным, кто мечтал о далёких морях и жарких странах в холодные зимние дни. Генка Полев и его двоюродный брат Володька Пономарёв не только мечтали и фантазировали, но и летом 1953 года два раза убегали из дома «в дальние страны». Меня они с собой не позвали ни разу, за что я на них сильно обижался. Готовились они основательно: в крутом склоне старицы вырыли пещеру и стали заготавливать в ней припасы: спички, соль, сухари, сгущёнку. Когда поднакопили, ушли в побег. Мимо Копая по Большереченскому тракту часто ездили грузовики в сторону Тары, на Север. Времена были добродушные, на перекрёстке Генка с Вовкой вместе с другими забрались в остановившийся пустой грузовик и пустились в путь. Отыскали их на второй или третий день в ста верстах от Копая. Отцы устроили им выволочку, но дней через десять они вновь убежали, на этот раз на лодке. Догребли до Иртыша, но в него войти не смогли, вода в старице стояла низко, и перед Иртышем появилась широкая песчаная перемычка. На этот раз домой они вернулись сами.

Трудно сказать, что движет подростками, когда они убегают из дома, а это было всегда, наверное. Не всё хорошо в доме, только этим можно объяснить такую охоту к перемене мест.

Летом 1953 года я открыл для себя водонасосную станцию, где работала мама. Водонасосная стояла наобочь от завода, на берегу старицы. Внизу на самом краю берега размещался первый подъём – глубокий и широкий колодец, где стояли насосы, наверху был второй подъём: насосная станция, большие резервуары для очистки и хлорирования воды, насосы и дежурный дизельный двигатель, который обслуживали бывшие шофера, списанные по нездоровью с автомашин. Здесь они коротали время, ожидая пенсию. Рядом с насосной находилось два резервуара для воды, тоже на случай аварии, и водонапорная башня, куда закачивалась вода. В свою смену всем этим хозяйством распоряжалась мама. Посторонним на водонасосную вход был воспрещён, она была окружена до самой воды колючей проволокой и охранялась солдатами караульной роты, которые охраняли и другую водонасосную, снабжавшую водой паровозы на линии Омск – Называевка. Но в 1953 году охрану сняли, и водонасосная стала для меня доступна.

Когда мама работала во вторую смену, а мамка старая тоже была на работе, то вечера я проводил в водонасосной. Быстро сделав уроки, я осваивал новую территорию и находил много интересного. Ровно жужжали электромоторы, подмигивали на пульте электролампочки, всё это было как будто живым и загадочным. По крутой лестнице я спускался с мамой на первый подъём, пугаясь каждого шороха в кустах и криков ночных птиц, которые далеко разносились по воде. Боязнь первого подъёма я так и не сумел преодолеть, как и страха высоты, который угнездился во мне во время первого опрометчивого подъёма на водонапорную башню. Обычно вход в неё был закрыт, но однажды я увидел, что дверь в неё открыта, и начал подниматься по лестнице наверх. Помещение башни было пыльным, на лестничных ступенях валялись дохлые голуби, шумела, заполняя резервуары, вода. В небольшое оконце я глянул наружу и увидел как на ладони консервный завод, его цеха, машины, людей, огромный ледник, который заливали всю зиму и укрывали от солнца опилками. Рядом с заводом находилась пожарная команда с конюшней для лошадей, на которых выезжали по тревоге пожарные расчёты, чуть дальше стояли школа, баня и несколько бараков. Чтото меня толкнуло подняться ещё выше, я вылез через люк на металлическую крышу, ухватился за громоотвод и обездвижел, окостенел от пронзившего меня насквозь страха. Я не мог даже вскрикнуть. Сколько я так простоял не помню, может быть, даже на какой-то миг и потерял сознание, и опомнился только на земле, куда меня снёс на руках Казанцев, бригадир насосной.

Это был добрый дядька, но жизнь его покрутила. В 1952 году его арестовали и два месяца продержали в тюрьме. Пришёл он оттуда едва живой. Года через два, уже после расстрела Берии, на дне рождения мамы, выпив браги, рассказал, что с ним было в тюрьме. Его забрали ошибочно, приняв за какого-то преступника, совершившего что-то ужасное где-то на Дальнем Востоке. Следователи не удосужились даже проверить его биографические данные. Сходились фамилия, имя, отчество, а остальное... Остальное из него выбивали смертным боем. Он уже готов был подписаться под всеми бумагами, но что-то помешало его мучителям, и дядю Казанцева выпустили. Беда не приходит одна. Вскоре у него начался рак верхней губы, ему его вырезали, но обезобразили.

В начале пятидесятых годов Омск был окружён множеством лагерей, населённых десятками тысяч заключённых. В одном таком лагере, строившем кирпичный завод №1, работали тётя Дуся и двоюродная сестра Женя. Я несколько раз был у них в гостях. Особенно запечатлелась поездка осенью 1952 года. Я поехал с Валей Машкиной (мамки старой дочкой), они с Женей были почти ровня и дружили. Было это на октябрьские праздники. Тётя Дуся и Женя жили в бараке для вольнонаёмных в большой комнате с печкой. Рядом была столовая для солдат охраны, где они работали. Была казарма, несколько домов для начальства, а вокруг степь, поросшая колючим бурьяном и полынью. Сейчас Омск разросся, вобрал кирпичный завод №1 в себя, а тогда было именно так: лагерь, обнесённый забором и колючкой, стройка и постоянно дующий ветер.

Случилось это на седьмое ноября. В гости к моим родственникам пришли трое солдат. Сели все за стол, подняли по стакану бражки и только выпили, как понеслось – стрельба, лай собак, крики. Солдаты убежали, я сунулся в окошко, но ничего не увидел, только забор лагеря и вышку, на которой двое солдат устанавливали пулемёт, а третий, вскинув автомат к плечу, короткими очередями стрелял вовнутрь лагеря. Я выбежал из барака и увидел большую группу военных у ворот. Они были возбуждены и громко разговаривали. Почти все были вооружены автоматами. Со стороны стройки к лагерю приближались несколько грузовиков.

– Баграми их, баграми! – заорал багроволицый майор и начал крыть всех матом. Судя по всему, это был начальник лагеря.

Грузовики подошли, в них запрыгнули по десятку автоматчиков с собаками, заскрипели ворота, и колонна заехала в лагерь.

Смотреть было больше нечего, и я вернулся в барак. Ближе к ночи вернулись наши утренние гости, солдаты, они были разгорячены и громко разговаривали.

А в лагере произошло следующее. Основной состав заключённых были политические — бандеровцы, лесные братья из Прибалтики, бывшие полицаи, старосты, власовцы, болтуны и прочая публика, отмеченная грозной 58-й статьей. Весной 1952 года к ним добавили уголовников. Те стали устанавливать свои порядки, но натолкнулись на сопротивление. Наиболее стойкими были власовцы, которые

сдались англичанам, пробыли какое-то время на рудниках в Африке, а потом были выданы Советскому Союзу. Их почему-то не раскассировали, не раскидали по всем лагерям, а всем батальоном с полтысячи человек направили в Омск. Между этими людьми существовала спайка, и они, что называется, понесли уголовников по кочкам. Их поддержали многие политические из бандеровцев и прибалтов. Началась резня, прямо на плацу, где столкнулись до тысячи с лишком человек. Кое-как удалось автоматными и пулемётными очередями уложить всех на плац. Тот, кто поднимался, немедленно получал пулю.

В лагерь вошли грузовики с солдатами. Они и эвакуировали блатных из лагеря. Делалось это просто: заключенного блатаря цепляли багром и волокли к грузовику, брали за руки, за ноги и бросали в кузов. Так и действовали целый день, пока не подобрали всех. Политических оставили. Они и построили завод, в посёлке которого мне предстояло прожить много лет.

Думаю, нужно сказать, как мы жили в начале 1950-х годов в материальном отношении. Мама зарабатывала 360 рублей, мамка старая – 800 рублей, Валя – 600 рублей, на меня приходили алименты, где-то 300 рублей. Всего выходило где-то 2000 рублей в месяц. У нас была своя картошка, капуста, лук, чеснок. На зиму покупали двух баранов по 180-200 рублей тушка. Хотя мы жили на молочно-консервном заводе, сгущёнки на столе не было, сахар брали в магазине, молоко – у соседа деда Корпача. Помнится, было много красной рыбы – горбуши в основном. Стоила 90 копеек за килограмм. Дешёвыми были рыбные консервы, хлеб, масло, молоко – 1 руб. 80 копеек за литр. Все мы по тому времени добротно одевались, что видно по фотографиям. Но нужно учесть, что мы не покупали ни мебели, ни электробытовых приборов, ни телевизоров. У нас в землянке не было электричества, поэтому всё это нам было ни к чему. В 1955 году мне мама купила велосипед, очень нужную для меня вещь, ведь без своего велосипеда моё детство было бы обиженным, и мама это поняла.

Как мы питались. Много ели щей, борщей, супов, картошки во всех видах, грибов, ягод, молока, каш, капусты, огурцов. А вот салатов и винегретов не делали. Или не умели, или не было в заводе у всей родни. Я до сих пор не ем винегретов и салатов, чем попадаю всегда в неловкое положение в гостях. А вот печёное, мучное, блины, пончики до сих пор люблю, поскольку от них пахнет моим детством.

С завода тащили, несмотря на то что тогда за баночку сгущёнки можно было схлопотать пять лет срока. Я всегда с любопытством смотрел на грузчиков, которые носили широченные штаны. Поговаривали, что в этих штанах они выносят с завода сахар и сгущёнку. Как-то мне повезло. Я шёл по дороге и наткнулся на большой, килограммов на десять, кругляк мороженых сливок. Он, видимо, выпал из проезжавшей машины. Маме тоже как-то раз повезло. Пошла она ночью на работе проверять запоры на водяных бассейнах. Смотрит, а рядом с крышкой лежит полмешка сахара. Но это были единственные случаи, поэтому и запомнились.

А мамка старая видела настоящий голод. В 1944 году командировали её с вагоном сгущёнки в Ленинград. Это была её первая и единственная поездка в Россию. За Москвой она видела разбомбленные и сожжённые города и сёла. В Ленинграде ей за банку сгущёнки предлагали очень дорогие вещи, но ничего с собой она не привезла, кроме памяти о немыслимом людском горе.

У меня долгое время о войне представления были киношными. В начале пятидесятых в Копай раз в неделю приезжала кинопередвижка. Крутили «Сталинградскую битву», «Падение Берлина», «Кавалер «Золотой Звезды», «Кубанские казаки» и другие красочные фильмы. В них война и послевоенная жизнь страны были столь тщательно отлакированы, что ослепляли зрителей и им верили безоговорочно.

В Копае жили люди разных национальностей: русские, украинцы, немцы. Каждого привела сюда своя нелёгкая судьба. У нас в классе училось много немцев. Регинка Зигерс жила через землянку от нас. Мы с ней дружили, она свободно говорила понемецки, её родители получали посылки из Голландии. Только закончилась война, казалось бы, отношение к немцам со стороны пострадавших русских должно быть очень плохим, но мы жили удивительно мирно, не думали, что этот русский, а этот немец. Сейчас вот подросшие русские немцы говорят о лишениях, которые они якобы перетерпели во время войны. Да, их выселили из Поволжья, но там была прифронтовая зона. Но немцев не призывали в армию, не посылали на фронт, хотя вполне могли бы всех загнать в штрафные батальоны. Их направляли в трудовые армии. Но у меня отец как близорукий был сначала в трудармии, а потом попал на Курскую дугу, был ранен, вполне мог быть убит, а немцы выжили.

Дядя Петя о войне ничего не рассказывал, кроме некоторых, на его взгляд, смешных случаев. Один из них произошёл с ним в Германии. Они захватили какой-то хутор и, воспользовавшись передышкой, сели за обед. Хозяйка-немка прислушивалась к их болтовне и всё поглядывала на дядю Петю. Наконец спросила его о чём-то. Кто-то умел говорить по-немецки и перевёл вопрос. Хозяйка спрашивала дядю Петю о его национальности. Тот ответил, что он сибиряк. Хозяйка онемела от ужаса, который тотчас отобразился на её лице, и куда-то убежала. Скоро она вернулась с геббельсовской листовкой. На ней был изображён здоровенный рогатый русский солдат с подписью «сибиряк». А дядя Петя был медноволосым со светлыми глазами блондином, с чекаными чертами лица и вполне отвечал представлениям о чистокровном арийце. Это и поразило немку больше всего: сибиряк и совсем не рогат.

Со мной в 70-х годах работал один тракторист, испытатель сельхозтехники. Под Сталинградом он был пулемётчиком и попал в плен. Его сразу же хотели расстрелять, но выручил один немецкий офицер, пораженный его нордической статью: рост под два метра, рыжина в волосах, белая атласная кожа. Попал он в Норвегию, добывал руду, затем – на наш советский лесоповал, где отмантулил до 1954 года.

Жизнь копайская, продолжение

Копай – небольшой посёлок. Зимой завьюжит его поверх крыш, ветра стащат на него весь снег с округи, чтобы упаковать понадёжнее землянки от холода. Поле просвечивает чёрной голизной земли, а посёлок завален плотно утрамбованным снегом, попыхивает печными трубами, живёт своей зимней скучной жизнью.

Весной, летом, даже осенью всё по-другому, всё в Копае выдвинуто наружу, напоказ. Когда на улице тепло и сухо, еду варят на печурках – самоделках, сложенных из десятка кирпичей во дворах. Весь народ предпочитает держаться снаружи, выходит, выползает из опостылевших за зиму землянок, копошится в огородах, заготавливает на зиму дрова, месит глину, обмазывает свои утлые жилища, чинит заборчики или просто бездельничает, радуясь солнцу и тому, что перезимовал, слава богу, и жить можно.

Впрочем, просто сидеть без дела наши копайские бабы не умели. Если не было срочного дела, они «искались». Сейчас, наверное, мало кто слышал об этом необходимом для чистоты и здоровья занятии. Сейчас у наших женщин в распоряжении имеется любое мыло, шампуни, уйма других профилактических, ароматизирующих, умягчающих мазей, кремов, которыми они умащивают не только лицо, шею, руки, но и свои «приманки» и «ловушки», настороженные на мужчин. Тогда всего этого не было. в качестве очищающих средств при мытье использовали хозяйственное мыло и «щелок» - раствор древесной золы в мягкой снеговой или дождевой воде. И всё равно головных вшей была пропасть! Поэтому любую свободную минуту женщины использовали для «искания». Делалось это так. Волосы тщательно вычёсывали мелким костяным гребнем, потом одна из женщин прядь за прядью переворачивала на голове товарки волосы и кончиком ножа давила трескучих гнид – яйца вшей. Летом это обычно делалось на улице и не вызывало ни у кого удивления.

Мужикам бороться с этим бедствием было проще: всегда можно побриться наголо, под «Котовского». К слову вспомнить, я шестилетним с изумлением наблюдал, как мой дед Карп Полотнянко парится в русской печи. Делалось это следующим образом: русскую печь протапливали, затем выгребали золу, выметали пыль, застилали соломой, и банный полок был готов. После «бани» окунались и мылись в бочке. А вот как мыли меня, не помню, но в печь, наверное, мальцов не сажали.

В Копае слышно всё насквозь. Наши соседи Кузнецовы утро почти всегда начинали с ругани. Тема всегда была одной и той же – кто ночью стащил из чугунка мясо и съел его тайком. Ругаются все, кроме глухонемого молодого мужика Сашки. Это был здоровый амбал, который с утра всегда бросал вверх на вытянутую руку двухпудовую гирю, затем брился, умывался и шёл на работу. Сашка был копайским франтом. Собирался на гулянку он тщательно. Долго и старательно гладил костюм, даже носки. Потом одевался и начинал чистить хромовые сапоги. Да как чистил! Щётка так и мелькала, а Сашка входил

в азарт и уже чистил не только хромачи, но уже и брюки сапожной щёткой. Поэтому обувь, штаны и пиджачные рукава всегда у него блестели.

Старая Кузнечиха была склочной бабой, с ней опасались связываться, но она получала отместку другим путём: то к ней под окно дохлую кошку бросят, то дымовую трубу забьют, то телегу на крышу землянки заволокут и подожгут. Она горела так сильно, что пожарные с завода примчались, весь Копай переполошили.

С другой стороны от нас жила Варвара Степановна с дочерью и зятем, тем самым, что возил меня в лес на заготовку, сгоряча пообещал подарить мне за это шёлковую рубашку, но так и не подарил, пожалел, а когда бывал пьяненьким, сам заводил об этом разговор, порывался идти за рубашкой домой, наконец уходил, но не возвращался. Варвара Степановна болела желудком и, когда я только приехал, ходила за мной с кружкой, чтобы я в неё посикал. Мочу она пила, не знаю, помогало ли это ей, во всяком случае в момент нашего отъезда из Копая в 1958 году она была жива.

Интересная семейка жила у нас на задах: полуслепая мать со слепой дочерью. Они промышляли изготовлением браги. Проезжающие по тракту шофера знали об этом, и возле их землянки всегда стояли машины, а пьяные шофера валялись, как разбросанные по лужайке снопы. Этот пир горой закончился в один день: слепые подложили под дно бочонка самосад или сыпанули его в бражку, но очередная ватага шоферов упилась до полусмерти. Они обрыгали все свои машины, всю траву и кусты, все заборы. Очухавшись, но терзаемые головной болью и злобой, они обмотали землянку тросом, подцепили его к машине и снесли напрочь, предварительно выбросив из неё слепых брагоделов. Копайские бабы были очень довольны этой расправой.

Землянки нужно строить на сухом или достаточно высоком месте, которое не подтапливается весной или во время дождей. Об этом, видимо, не подумали соседи напротив, и весной 1954 года их землянку вешней водой смыло – как корова языком слизала. Осталась яма да куча кирпичей от печки.

Дед Корпачёв, или по-уличному Корпач, это учёл и построил свой насыпной домишко на высоком фундаменте. Весной его двор тонул в воде, а дед делал переходы из навоза через громадную лужу, которая не высыхала всё лето. Сама Корпачиха болела ревматизмом, и корову доил дед Корпач. Прогонят стадо, я беру банку и иду к нему во двор. Дед обмоет коровье вымя, и в подойник зашвыркают тугие струйки молока. Я стою, жду, во дворе пахнет свежим навозом, воздух звенит от мух. Наконец, молоко у меня. Пока дойду до дома, ополовиню литровую банку. Когда ягодное время, любимой едой было молоко с земляникой и чёрным хлебом. Вкуснота!

Сейчас в садах около Омска появились зимостойкие яблони, а тогда к нам завозили алма-атинский апорт, большущие, с детскую голову, вкуснейшие яблоки. Сейчас их нет в продаже, недавно прочитал в газете, что вывелись они в Казахстане по причине разгильдяйства. А ведь, судя по рассказам старожилов, до колхозов были у нас яблоневые сады в Малороссах и Москалях. Это были очень

зажиточные деревни. Знаменитое сибирское масло, от продажи которого в Европу выручались громадные деньги, появилось в этих деревнях, где было перед революцией развитое молочное хозяйство, маслодельни, множество кооперативов. Но всё это рухнуло ещё в начале 30-х годов, но не совсем. Коечто оставалось, поэтому и построили молочно-консервный завод. Только омичи свою сгущёнку в магазинах не видели. Всё уходило на Север и в столичные города.

Весной 1954 года со мной произошёл дикий случай. Мы с Генкой Полевым попали на сабантуй - колхозный праздник после проведения посевной. Это было в начале июня. Уже с утра в ближайшие колки через Копай потянулись празднично одетые люди, пешком, на грузовиках и телегах. Мы с Генкой побежали за ними следом и как раз поспели к началу гульбища. Поначалу было всё чинно, пристойно – награждали победителей колхозной пашни, выступала самодеятельность, а потом началось застолье. Народ гулял широко и шумно. В многочисленных палатках и ларьках торговали пивом, водкой, конфетами и разной закуской. То там, то тут уже пробовали голоса подвыпившие мужики и бабы. Где-то к обеду все изрядно выпили. Мы с Генкой слонялись по лесу между палаток. И тут на нас обратил внимание продавец, подвыпивший мужик. «Бери, ребята, угощайся!..» И в пьяном кураже начал бросать в толпу связки баранок, конфеты, пряники. Затем стал расшвыривать бутылки водки. Одна из бутылок подкатилась к нам под ноги. Мы её подхватили и рванули в сторону. Последнее, что я помню, – Генка расковыривает куском ветки сургучную пробку. Очнулся я через сутки, когда пришёл участковый. Купеческая щедрость загульного продавца обернулась тем, что перепилась вся копайская пацанва. Кто-то из устроителей сабантуя смекнул, что дело пахнет керосином, и ребятишек стали собирать по лесу, грузить в кузов огромного ЗИЛа. Затем он медленно ехал по Копаю, останавливаясь у каждой землянки, и матери в куче набросанных кое-как тел отыскивали своих чад. Беспамятного, меня мама окунала в бочку с водой. Против продавца милиция возбудила дело, но чем оно для него кончилось, я не знаю. Но гульнул он с размахом, по-сибирски.

Возле консервзавода стояли добротные коттеджи для руководства и специалистов завода. В одном из них жили родители Валерки Блюма, а рядом бездетная чета Киселёвых. И муж, и жена работали на заводе дегустаторами, пробовали на вкус каждую варку сгущёнки и были необъятно толсты, объёмны и неповоротливы. Можно сказать, что их полнота была профессиональным заболеванием. Избавлялись они от своего недуга тем, что по утрам пилили толстое сосновое бревно. Метровой толщины лесина лежала на земле, а они, пыхтя и потея, стоя на коленях, тянули из стороны в сторону двуручную пилу. Киселёвы были своеобразной достопримечательностью консервзавода из-за своей полноты. В то время толстяков было мало, жизнь заставляла людей подтягивать животы.

На краю Копая находился небольшой кирпичный завод, работавший только в летний сезон.

Работали в нём приезжие парни и девчата, жившие в общежитии. Возле него по вечерам начинала играть гармошка и начинались танцы. Тогда это самодеятельное развлекательное мероприятие называлось «вечёрками». Конечно, вся ребятня Копая была там. Танцевали на поляне забытые нынче тустеп, польку, падеспань. По тогдашней моде парни были в костюмах и хромовых в гармошку сапогах, на голове – кепка-восьмиклинка или тюбетейка-аракчинка. Девушки наряжались в креп-жоржетовые и крепдешиновые платья-шестиклинки, шёлковый платок на плечах. Заливисто наяривала гармошка, над танцующими, освещёнными качающимся светом электролампы, водоворотами вились комары, а с недалёкой болотины к веселью подключался оглушительный хор лягушек. Копайская ребятня озоровала: нарвут крапивы и норовят обжечь девчатам ноги. Кое-кому кавалеры надирали за это уши, но мы не унимались.

От околицы Копая до консервзавода метров сто открытого пространства. Сейчас оно застроено, а тогда здесь были заросли боярышника, к старице простирался пустырь, а на берегу стояла водонасосная станция железнодорожного ведомства. Станцию охраняли солдаты, и пустырь использовался ими как стрельбище. Между тем люди ходили по импровизированному стрельбищу, и только во время огневой подготовки солдат выставлялось оцепление. Однажды осенью, когда поспела любимая мной восковая боярка, я отправился в колок, залез на дерево и стал собирать ягоды. И вдруг началась стрельба. Я вышел из чащи и был обнаружен оцеплением. «Ложись! Ложись!..» – заорали служивые, но я испугался и убежал от них в заросли.

Эти заросли боярышника казались мне лесом, полным всяких опасностей, когда я поздним вечером возвращался из школы после третьей смены. Однажды зимой я шёл по затвердевшим от мороза сугробам домой, всю округу наполнял тревожный и колеблющийся свет полной луны, звуки музыки и речи. Мощный радиоколокол на заводоуправлении транслировал шекспировскую «Леди Макбет». В этом театре я был единственным зрителем и слушателем. Вошёл в околок, кусты боярышника отбрасывали на снег фантастические тени, похожие на чудищ, а от заводоуправления разносились завывания и хохот шекспировских ведьм. От ужаса, охватившего меня, я присел на корточки и зажмурился. Вывел меня из оцепенения голос мамки старой, которая пошла меня встречать.

Ещё в 1953 году отходить далеко от дома было опасно: в войну расплодилась уйма волков, бывали случаи, когда они нападали на одиноких путников. Помню, рассказывали о женщине, которая ночью шла домой, и волки её сожрали, осталась только часть ног в валенках. Кроме волков, даже опаснее их, было много одичавших собак. Во всяком случае, охотники говорили, что на людей чаще нападают одичавшие собаки, у них нет страха перед человеком. Во всяком случае, я неоднократно видел возле своей землянки и на занесённой снегом крыше крупные следы, но волчьи или собачьи, сказать не могу.

На задах у нас была большая лужа, даже скорее нечто вроде пруда. Неподалеку стоял, как мне тогда

казалось, большой насыпной дом. Жил в нём старик, сухопарый и всегда молчаливый. И вот однажды мамка старая привезла откуда-то дрова, здоровенные лесины, сгрузила возле землянки и пошла обедать. Возле навала брёвен появился дед, ходил, постукивал по ним палочкой-батожком, покуривал самосад. Когда мамка старая вышла из землянки, он попросил её обменять толстенное сосновое бревно на колотые дрова. Ударили по рукам. Вскоре дед с внучатами перетаскали к нам в сарайку берёзовые поленья, а бревно дед каким-то образом доставил к своему дому. Там его и установил на слегах перед палисадником. Вскоре он начал над ним трудиться. Сначала ошкурил, потом начал сверху долбить. Меня очень заинтересовало, что там дедуля делает. Но кого спросить? Так и не узнал до случая. На следующий год из бревна стало вырисовываться что-то похожее на лодку. А вода-то рядом. И вот как-то мы, ребятня, стащили эту лодку в пруд. Но поплавать нам не удалось. Из дома с ружьём выскочил дед, пальнул в воздух и стал так страшно орать, что мы попрыгали в воду и кинулись к берегу, благо что воды было по пояс да грязи на дне по щиколотку. Там задами, задами, прячась в картофельной ботве, и прыснули по своим землянкам. А старшие только посмеивались и качали головами: «Ну орда! Спёрли у деда домовину, ну орда!..». Где-то зимой дед лёг в свою домовину навсегда.

За тем же прудом был небольшой околок боярышника. Туда мы совершали набеги за бояркой, крупными, в основном красными, иногда жёлтыми ягодами, имевшими сладковато-терпкий вкус. А только наступала зима, в околок прилетали снегири, которых мы называли «мясниками». Державин в своих стихах определил звуки, издаваемые снегирями, как «песнь военну», ну что ж, может быть, и верно, снегири издают поскрипывающие звуки, но слышать их мне доводилось только весной, когда они откочевывают на север.

Снегири – большие любители мяса. На этом и строилась охота. Брался ящик с прибитыми к крышке и стенке ящика с одной стороны ремешками, чтобы крышка свободно открывалась и закрывалась. Далее выстрагивалась палочка и ложечка. Крышку приоткрывали, на край клали конец ложечки, на ложечку вертикально устанавливали палочку, а на неё осторожно опускали крышку. На другой, более широкий конец ложечки помещали небольшой кусочек мяса. Ловушка насторожена. По прилёту снегири очень активны, так и шныряют в зарослях боярки. И вот один из любопытных клюёт на приманку, ящик хлопает крышкой. Всё закончено.

Других птиц я не ловил. Снегирей ловил, когда мне и десяти лет не было, но никакой охотничьей страсти не почувствовал. Поймаю и выпущу. В клетке их содержать – пустое дело. Снегирь очень красив, наряден, представителен только на воле, на пушистой от снега ветке дерева.

Сейчас, к счастью, вывелось распространённое в моём детстве озорство – зорить птичьи гнёзда. А я был участником таких диких набегов на сорочьи и вороньи гнёзда, приносил домой яички, швырял их в стены и заборы.

У нас как-то не принято говорить на тему детской жестокости, но она существует в каждом ребёнке до определённого возраста. Что тому причина? Скорее всего, ещё не подавленные до конца воспитанием первобытные инстинкты. Вернее и скорее всего с этим справлялись религия и довольно высокое нравственное чувство, которые составляли сердцевину русской крестьянской общины с ее отношением к природе, к среде обитания как к чему-то живому и даже одушевлённому. Сейчас этих средств воспитания практически нет. Стоит ли удивляться, что подростки, а иногда и просто дети забивают насмерть случайного прохожего, вооружившись обрезками железа, камнями и палками.

Среди нас ведь тоже случались ссоры, драки, но никогда вдвоем на одного не нападали, лежачего не пинали, да и вообще всё это «махание» длилось до первой крови. Уж на что не любили слабаков, или «хлызд», но их не били! Если играли в лапту, то просто опрокидывали «хлызду» на биту спиной и катали на ней, а тот ревел от страха и унижения благим матом. А ведь его провинность заключалась в одном: он отказывался продолжать игру, а игры бывали подчас длительными и трудными. Сейчас вот редко кто вспомнит такую игру: «попа нагона». Она проста: две команды гонят «попа», что-то вроде городка, вдоль по дороге, по лугу, по лесу и т. д. Это продолжалось часами, кто отказывался, тот «хлызда». Такие были порядки.

Часто первые зимние морозы ударяли в ту пору, когда было мало снега, и тогда все мы бежали на старицу, которая в одну ночь покрывалась сияющим ровным льдом. Тогда я надевал самую большую телогрейку, становился на коньки, и ветер нёс меня по льду, а душа сладко млела от переполнявшего душу восторга. Издали мы в распахнутых телогрейках походили, наверное, на движущиеся чучела, но нам было необычайно хорошо в это время, которое остаётся только с тёплой завистью вспоминать. Другой моей страстью было смотреть, лёжа на льду, в речную глубину, видеть водоросли и стаи рыб, движущихся в зеленоватом свете.

Ледок в два пальца толщиной Скрипит и гнётся под ногой, И трещины бегут кругами Над жёлтыми степными берегами. Сияет день морозный. И когда Под светлым льдом зелёная вода, Замерзший воздух в хрупкой корке льда Переливаются, играют быстрым светом, То радужно тепло, как будто летом, Река насквозь просвечена до дна. На дне коряга чёрная видна. И лёгкая подлёдная волна Чуть-чуть вокруг неё траву колышет, И рядом щука замерла, не дышит... Но вдруг подует ветерок колючий, И набегут взлохмаченные тучи. И с берега, откуда ни возьмись, Промчит позёмка стаей белых лис. Приятно душу освежить ознобом, И под метелью белой, пуховой Идти домой по молодым сугробам С весёлой просветлённой головой.

Прекрасная неповторимая пора! Старица была для меня гораздо больше, чем просто река. Часами я сидел на её высоком берегу в зарослях полыни, смотрел на необъятные дали, и никогда мне не было скучно. В этих далях в ровном и неспешном движении облаков мне чудилось нечто зовущее, загадочное и тревожное. Точно так же я любил смотреть на звёзды и до сих пор смотрю на них, но уже реже, клонит голову книзу тяга земная, житейская.

Старица научила меня относиться к воде осторожно, не баловать с ней, сознавать опасность. Както осенью на моих глазах погиб соседский пацан Сало, это по-уличному, а так Соломон, из немцев. Он мчался по ветру, растопырив стёганку, как парус, на коньках. Вдруг лёд под ним обломился, и он рухнул в воду, не успев даже вскрикнуть. Другой случай произошёл весной. Мы играли на протаявшем взгорке в «бить-бежать», потом кто-то предложил покататься на лодке в огромной полынье, что была возле водонасосной железной дороги. Лодка была алюминиевой, утлой. Мы в неё попрыгали, оттолкнулись от берега, и лодка перевернулась. Помню, кто-то истошно завопил: «Мама!..» А может быть, я закричал сам, не помню, но нам повезло, что края полыньи были крепкими и все сумели выкарабкаться на лед. В машинном отделении водонасосной мотористы нас раздели и разложили одежду для сушки на горячие трубы, а самих укутали в свою верхнюю одежду. И никто из нас не простудился.

Плавать я научился лет семи. Пришло время, и я стал переплывать старицу в самом широком месте туда и обратно, но всегда вздрагивал, когда попадал в водоросли – было и страшновато, и противно от прикосновения листьев к телу.

Школа стала что-то для меня значить после четвёртого класса. До этого я мало, что помню о ней. Конечно, помню первую учительницу, тех, с кем учился, но не было чего-нибудь такого, что бы запечатлелось в памяти. Судя по классным фотографиям, я был дисциплинированным и старательным учеником, хорошо учился, иначе бы не сидел на этих фотографиях рядом с учительницей, а это была по тем временам честь. Да и был я, видимо, одет лучше некоторых, на фотографиях я присутствую в белом подворотничке, чистой одежде, сытенький, толстоморденький с пухлыми полуоткрытыми губками и наивно распахнутыми глазами. Этакий грибок – боровичок!

Школа находилась от нашей землянки довольно далеко, за заводом. Это было одноэтажное длинное здание, сделанное из саманного кирпича, с печным отоплением, удобствами во дворе, примитивными спортивными сооружениями и приусадебным участком. Был 1956 год, год решительного наступления «царицы полей» кукурузы на Россию. Кукурузу вводили, как это у нас принято, принудительно. Всё это сопровождалось трескотнёй по радио и в газетах. Наша ботаничка, «тонкая как спичка, на высоких каблуках и с ботаникой в руках», то есть учительница ботаники, назначила меня главным кукурузоводом, выделила обширную грядку на приусадебном участке и семена. Не помню, что я сеял и как, но кукуруза вымахала в сажень высотой, да ещё с початками восковой зрелости. Удивительного в этом ничего не было: 1956 год был урожайным, на целине собрали столько хлеба, что не могли его подработать – толком очистить и подсушить. Так и столкнули в Иртыш тысячи тонн «загоревшегося» хлеба бульдозерами. Потом на целине начались «чёрные бури», и большого хлеба на этих пастбищных землях больше не собирали. Вбухали уйму денег в целину, а центральная Россия ещё лежала в развалинах после войны, особенно деревни.

Моя кукуруза сделала меня на один день знаменитостью районного масштаба. Где-то в начале сентября я со своей кукурузой участвовал в районном смотре достижений школьных селекционеров и получал первый приз – книжку, на первой странице которой был изображён кукурузный початок, где каждое зерно было стилизованной поросячьей мордой. Поднимаясь за подарком и почётной грамотой, я запнулся и грохнулся посреди сцены районного Дома культуры. Конечно, зрителей это позабавило.

Кстати сказать, все мои появления на сцене всегда заканчивались конфузом. Где-то в четвёртом классе меня заставили танцевать какой-то танец. На репетициях вроде всё получалось, а на сцене я растерялся, топал не в лад, шёл не в ту сторону, словом, всё перепутал и перепортил. Другой раз я что-то запевал, а на сцене пустил такого «петуха», что это поняли самые тугоухие. Но вершиной моего позора была пьеса «Мишкина каша», кажется, по Носову, где я играл главную роль. От волнения и страха перед публикой я забыл все слова роли и убежал из заводского клуба, где собрались на премьеру с полтысячи зрителей. Все эти страдания выкристаллизовались во мне в непоколебимое убеждение, что сцена и актёрство – это не для меня. И слава Богу, что это так! В дальнейшем мне приходилось общаться с артистами, даже немалого полёта, зачастую это были люди с заемным умом, как правило, большие циники и лгуны. Но ведь недаром говорят, что бог шельму метит. А иначе как шельмой артисту быть нельзя, а то сомнет, затопчет своя же братия.

В пятом классе нам начали преподавать историю Древнего мира. Учителем истории у нас была весьма занимательная и темпераментная личность по фамилии Падалица. Ему удалось меня сразу заразить древностью, Грецией, Римом. На его уроках я сидел не шелохнувшись, вбирал и впитывал в себя каждое слово. Тогда-то мне, наверное, удалось прочитать книжку «На краю Ойкумены», которая открыла мне таинственный мир людей прошлого. Я стал понимать, что время - это не просто счёт минут, часов и суток, а бесконечное протяжённое пространство, что мир не оканчивается за околицей Копая, а простирается в бескрайнюю даль. Я стал читать все доступные мне книги по истории, географии, читал их с жадностью, перечитывал наиболее интересные по несколько раз. Наша заводская библиотека была довольно большой, и я в ней стал, пожалуй, самым старательным читателем.

Чтение пробуждало фантазию. Я представлял себя участником почерпнутых мной из книг событий: я был спартанцем под Фермопилами, рабом из войска Спартака, матросом в эскадре Колумба, разведчиком в отряде Пржевальского, – кем только не был. Правда, у меня тогда появилось и другое, не менее сильное увлечение – спорт. Занимался всем, что мне было доступно. Мама выписала мне журнал

«Спортивные игры», и я узнал о ведущих футбольных командах, с замиранием сердца слушал репортажи с футбольных матчей, которые проходили в Москве. Стрельцов, Симонян, Яшин – имена, знакомые мне с детства.

Спортивные секции в школе работали, но вели их люди необразованные, в чём их упрекнуть вряд ли можно, ведь шёл всего 1956 год. Все тренировки заключались только в повторении одного и того же. Прыгуны прыгали, бегуны бегали, футболисты до изнеможения пинали мяч на кочковатом поле. О силовой, скоростной, тактической подготовке не могло быть и речи. Но энтузиазм, с которым мы занимались, был на высоте.

В седьмом классе учитель физкультуры и военного дела, бывший офицер-фронтовик, выдал мне малокалиберную винтовку «тозовку» и десять пачек патронов. По мысли наставника я должен был тренироваться дома, а затем выступать на соревнованиях. Конечно, сейчас подобное немыслимо. А тогда это ни у кого не вызвало протеста. Я принёс оружие и патроны домой. В погожий день вышел в огород, отмерил от стены пластяного сарая двадцать пять метров, оборудовал позицию и начал стрелять по круглой бумажной мишени. Через месяц на школьных соревнованиях по стрельбе я был четвёртым. «Тозовка» гостила у меня больше года, и стрелять я научился довольно метко.

Сейчас мало кто знает, что до войны у нас в стране не было физкультуры и спорта в современном понимании, и не потому, что мы безнадёжно отстали от других стран. Начиная с 1930 года в стране усиленно развивались военно-прикладные виды спорта: стрельба, прыжки с парашютом, метание гранаты, радиодело. Значок Ворошиловского стрелка был заветной мечтой каждого молодого человека. До войны в СССР миллионы людей были обучены стрелять, сотни тысяч совершили свой первый прыжок с парашютом, то есть прошли первоначальное обучение военному делу. Всё это пригодилось на войне. Сейчас военная подготовка в школах не проводится.

Любинский район относился к числу «безводных», то есть команду по плаванию на областную спартакиаду школьников мог не выставлять, но всётаки за счёт нашей школы набирал какое-то количество пловцов. У нас была старица, из которой мы не вылазили всё лето. Купаться мы начинали ранней весной в ледяной воде, из которой выскакивали, как ошпаренные, и долго стучали зубами, подставляя то одну сторону тела, то другую к загодя разведённому костру. И ни одна лихоманка нас не брала!

Не знаю, был ли в Омске в 1956 году закрытый плавательный бассейн, но мы соревновались на открытой воде в бетонном водоёме. Я плыл на спине пятьдесят метров, получил диплом за третье место. Некоторые из наших стали чемпионами, а в целом команда «безводного» района стала победителем соревнований. В 1961 году, учась в техническом училище, я участвовал во Всероссийской зимней олимпиаде школьников по восьмиборью в Ленинграде, даже был зачислен кандидатом в сборную России, но в основной состав не попал. Омск тогда был спортивной провинцией, спортзалов было

очень мало, это в дальнейшем в этом городе появились борцы, велосипедисты мирового уровня.

Директор молочно-консервного завода сделал и ребятне, и взрослым умный подарок: на старице организовали лодочную станцию. Лодки можно было брать напрокат, час стоил тогдашними сталинскими деньгами один рубль, а хрущёвскими десять копеек. Я часто брал один, а чаще с друзьями, лодку часа на четыре, которые мы проводили в купании и гребле наперегонки. Я последний раз был на консервзаводе в 1991 году, как раз в дни пресловутого путча. Лодочная станция была открыта, но желающих покататься не было. Видимо, все жители присосались к телевизору, и большинство из них радовалось тому, что скоро они будут свободными и богатыми.

Где-то, кажется, в 1956 году на консервзавод после окончания института приехал инженер-технолог, борец-классик, по-моему, даже чемпион России. Он так и остался на консервзаводе. Когда я там был в начале 80-х годов, он работал главным инженером. Сразу по приезде ему удалось организовать борцовскую секцию. Матов, помещения, естественно, не было, занимались борцы на улице в яме с опилками. Мы, отыграв в футбол, смотрели на их тренировки. Запомнилось, как приезжий борец поставил своих учеников возле перекладины и заставил подтягиваться. У нас в десятом классе учился Козлов, здоровенная орясина, которого мы считали самым сильным в школе. Так вот, он не подтянулся ни разу. Это было низвержение кумира. В коридоре школы у нас стояли брусья, и я уже кое-что, например подъём разгибом, мог делать. А тут парень под центнер весом висит варёной колбасой.

У меня так всегда складывалось в жизни, что все мои приятели были старше меня лет на пять. Началось это в школе. В седьмом классе я подружился с десятиклассниками Толей Луниным и Сашей Сутыриным. Саша был немцем, жил тоже в Копае, а Толя в бараке возле завода. Это были очень хорошие и умные ребята. Много читали, к чему-то стремились. Толя Лунин стал офицером – ракетчиком. Сашу Сутырина я встретил в Берегово, Закарпатье, где он служил в разведбате. Эти ребята уже тогда думали о своей стране. Конечно, наши суждения были наивны, но главное заключалось в том, что мы думали и говорили о том, о чём старшие не привыкли думать и говорить.

Наступало другое время, которое назовут оттепелью те, кому Россия была всегда не по их чёрной и продажной душе.

Между тем, в седьмом классе я учился кое-как, через пень-колоду, на уроках томился, тупо выполнял заданное на дом и пялился на Томку Казанцеву, которая вдруг показалась мне невиданной красавицей. Да, это был уже седьмой класс, и большинство из нас вдруг обнаружили, что мы уже не дети и принадлежим к различным полюсам, между которыми порой вспыхивают искры, обжигающие сердце. Вот и я почему-то влюбился в Томку, которая, через три года встреченная мной в Омске в трамвае, показалась мне ужасно некрасивой. На моё счастье она меня возненавидела. А за что?.. Наверное, за то, что я на уроках «гипнотизировал» её взглядом, а подойти не посмел. Свои чувства она выразила на

собрании, когда меня принимали в комсомол. Встала и заявила, что я «не достоин носить высокое звание» и т.д. Что конкретно она говорила, не помню, но меня не приняли, и я так и не побывал в славных рядах молодых строителей коммунизма, хотя строил его не щадя сил.

Вряд ли стоит описывать, что я испытывал в сексуальном плане в период своего возмужания. На эту тему написано более чем достаточно любителями поковыряться в подсознании. Вот на днях прочитал автобиографию лорда Рассела, тот, несмотря на свой аристократизм, тоже не удержался и развил какую-то сырость вокруг секса. Конечно, эти вопросы когда-то и для меня были значительными, но стоит ли о них говорить?.. Другое дело, если бы я тогда вёл что-то вроде дневника, записывал, а сейчас всё ушло, стёрлось, отгорело. Могу сказать только одно, что в отношениях с женщиной секс для меня никогда не играл ведущей роли, духовная взаимосвязь для меня всегда была важнее, а секс всего лишь скреплял или завершал возникшее чувство. Может быть, я говорю об этом путано, однако так оно и было.

А вот перед одной девочкой – Галей Казанцевой, поразительно красивой девочкой с лицом ангельской чистоты – мне стыдно до сих пор. Она была хромоножкой, а тут ещё заболела тифом, а когда появилась после болезни в классе, то голова у неё была повязан белым платком. По какой-то глупости я сдёрнул платок, и все увидели её стриженную наголо голову. Галя тихо и страдальчески заплакала. Прошло более полувека, а я всё не могу простить себе свою шалость, тем более что Галя умерла молодой.

В семидесятых годах я приехал на консервзавод, и моя двоюродная сестра Валя сказала, что умерла Нина Кулишкина, моя одноклассница. Перед смертью они с Валей встретились, конечно случайно, и Нина спрашивала обо мне. Я приехал в Ульяновск, и на глаза мне попался старый стеклянный графинчик, который Нина подарила мне в седьмом классе, и я понял, что она меня любила. А графинчик через какое-то время разбился...

На кирпичиках. Политические

Между тем в моей жизни назревали важные перемены, которые оказали большое влияние на мою судьбу. В 1956 году мы с мамой остались в землянке одни. Мамка старая, Валя с Гошей переехали в Омск на кирпичный завод к тёте Дусе, куда уже перебрались из Прокопьевска тётя Шура с Лёней и Валя Рязанова, моя младшая тётка. Все они получили комнаты в бараках, работали на 1-м кирпичном заводе обжигальщицами кирпича, хорошо зарабатывали и звали к себе маму и меня.

Летом 1958 года я закончил восемь классов, часто ездил на соревнования по волейболу, где выступал за районную команду. Мне, конечно, тоже хотелось в Омск, но вряд ли мы поступили правильно, переехав туда. Мне нужно было сначала окончить среднюю школу, определиться, в какой поступать институт, но этого не случилось, поэтому жалеть об этом бесполезно. И вообще, я считаю, что судьба всё-таки существует и человеку заранее указана

дорога, которой он следует всю свою жизнь. Только вот кем указана?..

В 1956 году лагерь политзаключенных на 1-м кирпичном заводе был закрыт. Всех зэков выпустили на волю, только кое-кому, например бывшим эсэсовцам из прибалтов, был выезд на родину запрещён. Бывшие охранники, бывшие зэки стали работать на заводе, жить по соседству в тех же зэковских бараках, которые были разгорожены на комнаты, где установили печки, а рядом с бараками построили сараи для хранения дров и угля. Эта перестройка разворачивалась на моих глазах летом 1956 года, когда я часто бывал в Омске. Когда в лагере жили зэки, он был чистым, ухоженным, с клумбами цветов, гипсовыми скульптурами, но «вольняшки», вломившись в него, всю эту лагерную благодать моментально затоптали и изгадили. Возле бараков выросли горы мусора, обильно заливаемые помоями, которые никто не убирал, скульптуры разбили, всякие там прибамбасы, вроде фонтанчиков, исковеркали.

Сейчас, когда по телевизору показывают престарелых, но ещё крепких на вид бандеровцев из Западной Украины, эсэсовцев из Латвии и Эстонии, я пристально вглядываюсь в экран: а вдруг мелькнёт знакомое лицо, ведь я видел их достаточно, жил с ними, работал, когда в 1956 году эту публику выпустили из лагеря.

В 1959 году мне исполнилось шестнадцать лет, и я устроился в формовочный цех откатчиком. Откатчик откатывает вагонетки с сырым кирпичом на лафет для перевозки их в сушильные камеры. За смену приходилось откатывать в среднем 20-30 тысяч штук кирпича. На другом прессе в мою смену работал откатчиком эстонец Альберт, спокойный мужик, бывший зэк. Мы с ним первыми после работы уходили мыться в душе, и где-то через неделю я заметил на теле Альберта странные наколки. «Что это?» – спросил я. – «Это?.. Это я немножко в СС служил».

Я опешил, а Альберт, насвистывая весёлый мотивчик, вышел из душевой в раздевалку.

И надо же такому случиться! Я как раз в эти дни читал только что изданный сборник документов СС в действии», где подробно излагались все злодеяния эсэсовцев. И вот он передо мной, мой соратник по откатке кирпичей, добродушный мужик Альберт, от которого я грубого слова не слыхивал. Позднее я узнал, что эсэсовцы воспитывались в духе презрительного равнодушия ко всем, кто не принадлежал к их кровавому ордену. Это была своеобразная изуверская религия нацизма, считавшая всех людей, кроме арийцев, недочеловеками.

Альберта освободили, но не реабилитировали. Поэтому, наверно, он не спешил уезжать домой.

Вскоре у меня сломались наручные часы, и мне подсказали, что слесарь Саша Воробьёв может помочь моей беде. После работы пошёл к нему в барак. Саша был холостяком, но комнату содержал в чистоте. Он взялся отремонтировать часы, но когда я пришёл за ними через неделю, моих часов у Саши не было

– Я их сделал, но отдал знакомому, ему в командировку надо было ехать, – виновато сказал он и выставил на стол бутылку водки.

Что делать? Мы выпили, и Саша Воробьёв поведал о своей жизни. Наверное, наученный тем, что каждое слово нужно подтверждать доказательствами, он достал из чемодана документы о своей полной реабилитации.

– Меня призвали в июле 1941 года. Я тогда жил на Украине, окончил одесский кинотехникум. Я и не воевал даже. Прямо на марше, после бомбежки, на толпу необстрелянных солдат навалились танки и пехота немцев. Загнали нас за колючую проволоку посреди степи. Жара. Воды не дают, еды не дают. Держали на таком пайке недели две. Не поверишь, всю траву съели, за место у лужи дрались... Потом приехали какие-то немцы, а с ними русские. Построили тех, кого смогли пинками поднять. Объявили, что желающие послужить фюреру должны выйти из строя. Из первой шеренги вышло несколько человек, остальных пристрелили. Дошла очередь и до нас... Честно говоря, я не помню, как вышел из строя... Может, сам шагнул, может, подтолкнули, но так получилось, что через месяц я оказался в одной деревушке на Гомельщине. На уборке урожая. Стал чем-то вроде надзирателя над колхозниками, которые должны были убрать урожай и сдать немцам. Определили на постой к тётке, а та волком на меня смотрит, боюсь – задушит ночью. А она порядочной оказалась. Раз смотрела, смотрела на меня и спросила: «А ты хочешь, солдатик, на моих воротах в петле болтаться, когда наши придут?..» Я молчу, куда мне бежать, немцы под Москвой.

«И я не хочу, – говорит тётка, – чтобы ты мои ворота поганил». Отвела меня к партизанам. Затем, когда наши подошли, забрали в действующую армию. Два раза ранен. Орден имею, медали. Демобилизовался и героем покатил домой. Достали меня в 1947 году, взяли ночью и, как всем, четвертак сроку плюс пять лет ссылки, пять – поражение в гражданских правах, как тогда говорили: «получил пять – по зубам и пять – рогам».

Сейчас, когда Саши Воробьёва нет в живых, он всю жизнь проработал слесарем и умер где-то в начале 1980-х годов на всё том же 1-м кирпичном заводе, я могу сказать, что всю его жизнь определил шаг, который он сделал смертельно голодный, находящийся на грани умопомешательства в немецком фильтрационном лагере. Не сделай он его, значился бы в списках пропавших без вести. Он его сделал и мучился всю жизнь, но осуждать его за это я не решусь.

А вот об одном бывшем зэке, слесаре нашего формовочного цеха Аккермане, сказать следует особо. Помнится, мы вышли в первую смену и в цеху царил переполох. Оказывается, ночью органы госбезопасности арестовали слесаря Аккермана. Но об этом наши начальники не знали, думали, что передовика производства, чей портрет красовался на Доске почёта, замела милиция. Это было в 1961 году, когда во всей стране шла компания по взятию преступников на поруки. Спешно провели цеховое собрание, написали нужную бумагу, и парторг и мастер цеха Колычева поехала решать судьбу Аккермана. Вернулась она к концу первой смены, бледная, с вытаращенными глазами. В КГБ ей, видимо, прочистили мозги, и единственное, что она произнесла, было: «Аккерман – военный преступник!..»

В начале 1960-х годов в Краснодаре проходил крупный процесс изменников Родины, повинных в истреблении сотен тысяч советских граждан. Наш тишайший передовик производства слесарь Аккерман оказался штатным переводчиком эсэсовской зондеркоманды. Эти гады в «душегубках» уничтожили тысячи и тысячи детей, которые находились на лечении в санаториях и не были своевременно эвакуированы. Литературно-публицистический отчёт об этом процессе опубликовал Лев Гинзбург («Бездна»).

В политические преступники попадали и малолетки. Мой сосед по бараку Юзек получил срок, когда ему едва минуло пятнадцать лет. Юзек жил в деревне на польской границе, пас скотину, и вот однажды бандиты послали его с запиской в деревню. В доме была чекистская засада. Юзека повязали, допросили, осудили на десять лет и отправили в омский лагерь. В лагере Юзек вымахал в двухметрового детину, научился читать и писать, освоил слесарное ремесло. Его, конечно, полностью реабилитировали, он получил жилплощадь в бараке, купил мотоцикл «Харлей», полностью оделся в кожу: фуражка, гимнастёрка, галифе, сапоги, пальто — стал первым парнем на посёлке, куда из деревень понаехало много девчат.

Мы с Юзеком однажды поехали в центр города, он решил подарить своей зазнобе блестящие резиновые сапоги – последний писк тогдашней моды. До промтоварного магазина мы не дошли. Юзек в первую очередь завёл меня в распивочную, где были установлены автоматы для розлива вина, накупил пригоршню жетонов и закуролесил. Я тогда не пил, а Юзек шарахнул стаканов десять портвейна, налил ещё и провозгласил тост:

- Уря!.. Уря!.. Прекрасный Гитлер!..

В распивочной воцарилось недоброе молчание. Я сгрёб со стола оставшиеся жетоны в карман и из всех сил стал выталкивать Юзека на улицу. На пороге он ещё раз проорал здравницу фюреру. Время от времени Юзек выкрикивал этот антиобщественный лозунг в трамвае и автобусе, пока мы добирались до посёлка.

Утром я пришёл к нему домой. Юзек жадно пил воду. Выслушав моё повествование о вчерашних событиях, он тяжело вздохнул.

– В начале войны в нашу деревню назначили полусумасшедшего коменданта. Немец был большим любителем военных маршей и шнапса. Напьётся и собирает всех жителей перед комендатурой. Сначала речугу толкнёт, а потом заставлял всех хором орать: «Уря!.. Уря!.. Прекрасный Гитлер!..». А мы, пацаны, как засвистим. Немцы, полицаи похватали тех, кто не успел удрать. Я хоть и не свистел, тоже попался. Меня били шомполом, а я через каждые два удара орал: «Уря!.. Уря!.. Прекрасный Гитлер!..» До полусмерти забили. Запомнил я эту науку глубоко. Сейчас у пьяного иногда наружу выскакивает...

Ещё до революции отец Николая Литвинова, слесаря нашей формовки, переехал на жительство в Харбин, тогда совсем русский город, столицу принадлежавшей России, а затем СССР китайской восточной железной дороги. Отец Николая работал кузнецом в железнодорожных мастерских,

завёл семью, имел советское гражданство. В 1935 году КВЖД была уступлена Маньчжоу – Го, а фактически японцам, которые оккупировали город. Николай родился в 1932 году, учился в русской средней школе и одновременно занимался в японском аэроклубе. После разгрома Японии всех русских выселили на родину. Кузнец Литвинов с семьёй поселился в Хабаровске, где Николай возобновил занятия в школе и местном аэроклубе.

В кругу начинающих лётчиков велись жаркие и, как оказалось, смертельно опасные разговоры. И Николая арестовали. По его рассказам, его не пытали, а поместили в одиночку, напоминающую гостиничный номер. В коридоре тюрьмы были даже ковровые дорожки. Тем не менее трибунал приговорил Литвинова к десяти годам лагерей. Обвинение было нелепым, но вполне укладывалось в законные рамки. Оказывается, в своём кругу молодые авиаторы обсуждали достоинства американских самолётов и пришли к выводу, что они лучше наших. Николай в разговор не вступал, но не донёс о «вражеской вылазке» властям. За это и схлопотал «червонец».

Я тогда не знал, что есть люди, искалеченные страхом. И вот мы с приятелем по работе Володей Волынкиным решили подшутить над Николаем. Завели разговор о кружке единомышленников непонятно чего, намекали на сохранение тайны – словом, несли ахинею. Но как побледнел Николай, как он бросился от нас бежать! Лагерь ему обломал крылья, убил мечту, искалечил душу. Впоследствии я написал об этом большое стихотворение.

Крылья

(1958, полевой аэродром на северной окраине Омска)

- Вставай! В углу рыдала мать. Стоял отец, угрюм и бледен. Начался шмон. А что искать?.. Я был для родины безвреден. Я бредил небом в те года. Меня все прочили в пилоты. Но в это утро навсегда Мои закончились полёты. - Ошибка, может быть? -Omeu Спросил у них, слова ломая. Ответ ударил, как свинец: – У нас ошибок не бывает! Что был им я, слепой щенок, Влюблённый в асов и поэтов? Меня толкнули в «воронок», Ткнув под лопатку пистолетом. Я в сумрак мёртвый и седой Был запечатан одиночки... Смотри! Смотри! Опять седьмой Без подготовки крутит «бочки»!

Я посмотрел: Над головой Набито было небо громом, И «Як» серебряной стрелой, Крутясь, шёл над аэродромом. Мы восседали на бугре. Дымилась степь полынной пылью. И друг завидовал игре Паривших над землёю крыльев.

– В аэроклубе прежних дней Был у меня приятель Вовик. И он сказал в кругу друзей, Что выше всех летает «Боинг». Так он врагом народа стал. И мне нашли судьбу под солнцем. Как малолетку, трибунал Меня пометил лишь «червонцем».

Мы шли по полю. Жар земли Смешался с пыльной сушью всходов. Бурьяна стебли проросли В ржавь отлетавших самолётов. Бригада молодых парней Металлолом грузила краном. Трава трещала; От корней Зияли на суглинке раны. И запах, стойкий и густой, Струился богородской травки.

– А мне, с изломанной судьбой, Уж не поможет переплавка. Я – вторсырьё эпохи зла. Машиной страха и насилья По мне история прошла И отдавила напрочь крылья...

День жарко выгорал, отцвёл. Настал вечерний час покоя. И золотые капли пчёл Текли, звеня, сквозь стену зноя. Земля устала ждать грозу. Взрывался пухом одуванчик. Держа за крылья стрекозу, Навстречу шёл весёлый мальчик. Он шёл и не глядел на нас, Ступая по земле горячей. О, как он рад был в этот час Своей охотничьей удаче! В глазах улыбчивая синь. Струилась чёлка золотая. И пахла горечью полынь, До слёз мне горло обжигая.

Что ни говори, а при Сталине жизнь у людей была как у пассажиров трамвая: половина сидела, а другая половина тряслась. Это не я, а народ так горько шутил.

Видел я и полицаев на шахте в Прокопьевске. Через много лет написал об этом стихотворение.

На кирпичиках, продолжение

В конце июля 1958 года мама продала землянку, и мы переехали на кирпичный завод №1 города Омска. Комнату нам выделили, мама устроилась на работу сушильщицей кирпича, а вот с пропиской

была морока. Прописалась мама только осенью и то после того, как тётки выкопали картошку на фазенде начальника райотдела милиции. Этот блат устроил нам его шофёр, какой-то дальний родственник по Усть-Шишу.

Это сейчас кирпичный завод воткнулся одним боком в северную окраину Омска, а тогда это был совершенно автономный посёлок в пяти километрах от города, который заканчивался на кольце третьего маршрута трамвая, на 11-й Ремесленной. Автобусы практически не ходили, до города добирались кто на чём. Школы не было, учеников моего возраста тоже, и меня одного возили в школу №20 на 3-ю Ремесленную. Проучился я там полгода и перешёл в школу рабочей молодёжи, где директорствовал примечательный человек Тимофей Меркурьевич Панасенков. Это был подвижник и бессребреник, получивший образование в гимназии, затем приобрётший профессию педагога. Он был членом КПСС с 1924 года, то есть был коммунистом ленинского призыва. Я впоследствии посвятил ему стихотворение, он уже перед своей смертью прочитал его на партсобрании. Я отдал ему свой долг за его доброту и порядочность цельного человека, каких уже тогда почти не было, а сейчас тем более. Сейчас мы все испортились вдрызг, и неизвестно, соберётся ли человек в цельность, видимо, уже нет.

Тимофей Меркурьевич преподавал историю, и мы с ним сошлись в этом увлечении. Я, конечно, горячился, нёс всякую ерунду, а он мудро давал мне выговориться, по-хорошему завидуя моей молодости и горячности, которую он уже порядком порастратил.

Урок истории

Тимофей Меркурьич Панасенков Был директором ШРМ. Нас учил, кочегаров, откатчиков, Он – знаток исторических тем.

Мы зимою глядим, бывало, Как упрямо сквозь вьюжный свист Наш Меркурьич идёт по шпалам В куртке кожаной, как чекист.

Наломавшись за смену, тяжёлые, Приходили мы вечером в класс. И директор вечерней школы Вёл в глубины истории нас.

Тимофей Меркурьич!.. Едва ли Тогда я вникал в вашу речь. Рано утром меня ожидали Вагонетка, лопата и печь.

Был кирпич, раскалённый и рыжий, Поважней, чем Тацита труды. А лафетчица – краше Мнишек. Сменный мастер – мудрей Калиты.

... Не истории пороховые, А совсем другие, печные, Раскалённые погреба Мне тогда открывала судьба. «Вытягивай на золотую медаль», – говорил он мне. Но куда там! Я взрослел, я куда-то бежал, торопился, суетился, это мешало мне сосредоточиться, хотя бы на миг, взглянуть на себя со стороны. Меня, как щепку по бурной воде, влекло за собой течение времени. Это от характера, а он, как говорят мудрые люди, судьба человека. Так вышло и со мной.

Вот эти-то лишние силы долго-долго мешали мне понять самого себя.

Лагерь ликвидировали, и на кирпичный завод хлынула молодёжь из села, те, кому стали выдавать паспорта. Они бежали из опостылевших деревень в город и попадали к нам, потому что здесь давали койку в общежитии и городскую прописку.

Наводить порядок на заводе и в жилом посёлке начал директор Штепа. Это был жёсткий и властный руководитель сталинского закваса. Ему как-то удалось сразу завоевать непререкаемый авторитет среди рабочих. Наверное, потому, что всегда держал слово, а это вызывало уважение. Завод резко увеличил производство продукции. В год выпекалось более ста миллионов штук кирпича. Всё это уходило на стройки Омска, а в нашем барачном посёлке первую пятиэтажку построили только в 1969 году.

Тогда, в 1959 году, в Омске родилась пропагандистская ахинея, что наш город занимает первое место в СССР по озеленению. Штепа заставил всех жителей посёлка взяться за лопаты, сажать тополя. Через несколько лет тополя разрослись, кривобокие бараки и сараюшки были надёжно замаскированы.

Шестнадцатый год жизни был для меня мучительным, и тому была своя причина. Я как-то сразу вымахал в здоровенного парня, торопился примкнуть к кругу взрослых людей, хотел зарабатывать деньги, жить самостоятельно, но мои года меня стреноживали, а я спешил, спешил... Куда?..

В это время (конец 50-х годов) был принят с благими намерениями совершенно дурацкий закон, запрещающий брать на работу тех, кто не достиг восемнадцати лет. Предполагалось, что молодёжь должна учиться, приобретать специальность. Но не все же имели способности и желание учиться. Нет, учись! Учителя натягивали оценки, смотрели сквозь пальцы на шалости и хулиганство учеников, тянули в образование полнейших остолопов, исключения были редкостью. И, как следствие, школа утратила свой престиж, авторитет школы и учителей упал и так и не поднялся. Конечно, намерения у власти были самые благие. Прошло тринадцать лет после войны, после страшной разрухи, и всем стало доступно среднее образование. Вот эта доступность почему-то переросла в приказную норму, а этого делать было не надо. Школу обязали притворяться, что она выпускает людей со средним образованием. Но сколько из неё вышло полнейших остолопов и остолопш!

Наконец-то кирпичный завод соединили асфальтом с городом. А ведь до 1958 года дорога до 11-й Ремесленной представляла собой разбитую колею, на рытвинах и ухабах которой ломались машины и перевозимый ими кирпич. Потери были ужасные. Но провели асфальт не для кирпичного завода, а для стройки, которая разворачивалась за ним. Это военный объект, который строили солдаты (сейчас

посёлок Степной и бетонный завод). Автобус ходил до кинотеатра «Художественный», город стал мне ближе и доступнее.

В это время пришёл из армии и поселился в комнате напротив нашей Боря Харитонов. Пятилетняя разница в возрасте не стала помехой нашей дружбе. Он работал на заводе слесарем, затем его избрали освобождённым секретарём комсомольской организации завода. Это был житейски умный, весёлый и общительный парень. Через пять лет он уже был мастером на заводе кислородного машиностроения, позже — начальником цеха и начальником производства, хотя закончил всего лишь техникум.

Боря не читал книг, зато мастерски играл на гитаре и имел приличный голос. В конце 50-х до нашего захолустья ещё не дошли кассетные магнитофоны, многие увлекались гитарой и пели. Это было время возрождения Сергея Есенина из небытия. Вышли после тридцатилетнего перерыва его книги, и для русского человека его стихи стали желанным откровением. Все поэты, лелеемые Сталиным, с появлением стихов Есенина стали неинтересны. Это было второе пришествие поэта всей России. В 1920-х годах его знала только городская публика, а теперь вся страна. Не только знала его стихи, но и пела, утверждая его как народного поэта.

Где-то там, в Москве, начинали создавать свои дутые поэтические биографии Е. Евтушенко и А. Вознесенский, нашёптывал свои песни под гитару Б. Окуджава, а у нас, в глубине Сибири, читали и пели Есенина.

Сейчас я расцениваю это время как рубеж, переступив который, Россия стала нищать духом. С одной стороны, Хрущёв много сделал для реанимирования бреда марксизма-ленинизма с его безбожием, с другой – появились и быстро размножились в творческой и академической среде «люди-трихины» (Ф. Достоевский) типа физика А. Сахарова и писателя А. Кузнецова. Число их множилось, из каждого окна завопил В. Высоцкий. О нём могу сказать одно: люди, которые читают Есенина, – это народ, а Высоцкий – это идол массы, сборища циников и себялюбцев, тех, кто в 1991 году согласились с разрушением России. Нужно, конечно, верить в духовные силы народа, но и закрывать глаза на очевидные факты не стоит.

Как-то умный и образованный (среди современных поэтов это редкость) Борис Примеров мне рассказал, как он встречался с героями Даманского. И автор музыки песни «На безымянной высоте» спросил пограничника, какая мелодия пришла ему на ум, когда он отбивался от наседавших китайских солдат. Композитор явно хотел услышать, что это была его песня, и все это поняли. А солдат сказал правду: «Степь да степь кругом...».

Мама работала на сушке кирпичей, там была большая загазованность и уйма пыли. У неё стала прогрессировать бронхиальная астма, она часто болела, подолгу лежала в больнице, поправлялась коекак и шла опять в газ и пыль кирпичного завода. А я тем временем вынужден был бить баклуши, слоняться по посёлку днём и вечером, читать книги. Впереди меня ждали два года такого мучения.

Мне повезло, что в посёлке не было хулиганов в современном смысле этого слова. Не было и помину о наркотиках, мордобое и воровстве. Двери комнат в бараках почти не запирались, да и взять в них было нечего. Мебель была, как правило, самодельной, одежда – самой дешёвой, словом, ни ковров, ни хрусталя, ни телерадиоаппаратуры жители не имели, так что и тащить было нечего.

По вечерам ходили в кино, по выходным молодёжь собиралась на танцплощадке. Это было время полузапрещённого «Мишки», под который танцевали фокстрот. После фестиваля молодёжи в Москве в 1957 году появились первые стиляги, так называли власти и обыватели тех, кто стал носить причёски с коком, разноцветные рубашки, узкие брюки, однотонные цветные носки и туфли на толстой подошве. У нас стиляг не было, да и откуда им было взяться: все работали, а кирпичики выматывали жилы даже у самых крепких парней.

Наш барак стоял рядом с общежитиями. Я познакомился с ребятами и стал туда ходить. Летом мы играли в футбол и волейбол, а зимой собирались в примитивном спортзале, где играли в теннис и таскали штангу.

В 1959 году я познакомился с Антоном Селюном, между нами завязалась горячая дружба. Антон ушёл с 1-го курса сельхозинститута, но мечту о высшем образовании не оставил, поступил на заочное обучение в планово-экономический институт. Антон увлекался философией, и с его подачи я стал читать Фейербаха, Гегеля, конечно, ни черта не понимая, но азартно. В это время много говорили о культе личности, но ещё больше о том, что нас ждёт неизбежное светлое будущее. А как же иначе! Запустили первый спутник, и все, буквально все, высыпали вечерами из бараков, чтобы посмотреть на крохотную звёздочку, которая двигалась по небу. У всех было чувство гордости за наш спутник, за то, что мы впереди, и это так и было, планеты всей.

Первый спутник

В цеху дышали грузно прессы. По брусу глины бил смычок. В том царстве глины и железа Я был первейший звездочёт.

Он вспыхнул в небе – тих и робок, Пересекая наш завод. Из душных цеховых коробок На волю повалил народ.

Шумели люди, точно гуси, И все смотрели вверх, туда, Где звонко над рабочей Русью Плыла рабочая звезда!

Зиму и весну 1959 года я провел в тревожном ожидании, считая дни до своего шестнадцатилетия. Второго июня я получил «серпастый и молоткастый» советский паспорт и на следующий день переступил порог отдела кадров кирпичного завода.

Бывший начальник режима лагеря политзаключённых Просеков прекрасно знал моих родных и поэтому «не заметил» моего малолетства и подписал заявление.

Узнав, что устроился на работу, мама всплакнула. Она поняла, что я стал взрослым и начинаю уходить от неё в свою жизнь. А всё это – новые для неё тревоги и надежды. Сам я ощущал праздничный настрой, всё в жизни меня радовало, я верил, что впереди меня ждёт светлое будущее. Но не я один так думал в то время. Страна была на подъёме, восторженно наивное настроение владело тогда практически всем нашим поколением детей войны.

Стихи про Кирпичики

Счастье

Печь обжига кирпича, Кольцевая печь – Жар-птица огня в зоне нагрева, Арочный свод У вздымленных плеч – Меня переваривало твоё чрево!

К раскалённому кирпичу Прикипала ладонь, Шипела зола На промокших валенках. Падал на вагонетку сырой поддон, С плеч Василька – Моего напарника.

Вплотную жара
Подступала к лицу.
И, хлебнув на бегу
Подсолённой водицы,
Мы гнались с Васильком
По печному кольцу,
Как за счастьем,
За огненной птицей.

Работа была Тяжела и проста, Нас судьба, не спросив, Привела в это пекло Выдёргивать кирпичи, Как перья из хвоста Жар-птицы Что от бессонья ослепла.

Перекур

Резиной жжёной пахнут рукавицы. Дымится красный пепел на плечах. И греются озябнувшие птицы Под утро на горячих кирпичах.

Не дотянуть, как видно, нам до плана. В печи жара. И сменный мастер хмур. Из-за поломки башенного крана Нечаянно нам выпал перекур.

Безусые, тогда мы не курили. В печи клубился огненный расплав. Мы спецжиры положенные пили, Молочные пакеты надорвав.

И пот стерев с калёного затылка, Сказал нам сменный мастер с хрипотцой: – Сгорела, парни, ваша прогрессивка, Сожрал её внеплановый простой.

И, раскрывая записную книжку, Хотел сказать ещё он что-то нам, Но на лету замёрзший воробьишка, В печь запорхнув, упал к его ногам.

Глядим – он ожил, смотрит левым глазом. Открыл другой. Встряхнулся и вспорхнул.

А мастер вслед: «А ну, вернись, зараза! Вернись сейчас же, запишу прогул!»

И грянул хохот под кирпичным сводом. Стало всем нам сразу веселей, Что спас нам не привычную свободу Оттаявший смышлёный воробей.

* * *

Тебя мы знали по работе В одном цеху. Иван Кузьмич, Ты четверть века на заводе Из печи выгружал кирпич.

Работал честно, без прогулов. Зарплату отдавал жене. Во время праздничного гула Был от начальства в стороне.

В твоих глазах потухло небо... Мы все толпились на крыльце. Плыл отсвет кумача и крепа На неживом твоём лице.

О чём-то давнем ныло сердце. Вставала в памяти война. (Звенят, звенят на полотенце В руках у друга ордена.)

И каждый памятью особой Равнял свою судьбу с твоей, Смотрел на возвышенье гроба, На твой сосновый мавзолей.

Светка

Поначалу бывало несладко, Поначалу – откатка, откатка! В десять полок кирпич-сырец. Не под силу была вагонетка, Насмехалась лафетчица Светка: – Ну какой ты откатчик, малец! Ну какой ты ещё мужчина?.. В руки крепкую вагу брала. Сильной, словно стальная пружина, Пересмешница Светка была.

И по рельсам гулко и звонко, Словно выстрел, летела вагонка. Светка вслед ей кричала:

– Пошла! И пила, громко фыркая, воду, На щеках – снегири, а в глазах – соловьи. От тяжёлой мужской работы Задыхаясь, как от любви!

* * *

О чём говорят мужики после смены, Все восемь часов простояв у станка, Когда покидают фабричные стены И тянут неспешно пивко у ларька?

Конечно, проблем ещё много на свете, Не разрешённых мужицким умом. И те, кого в шумной толпе я приметил, Калякали тихо и грустно о том,

Что в нынешнем мае дождей не бывало, А с неба всё льётся и льётся огонь. Что в поле озимые суше металла, Рукою задень – и порежешь ладонь.

И речь, и слова-то не городские Звучат, хоть у всех городская судьба. Их тянет домой, в полевую Россию, Туда, где сейчас выгорают хлеба.

К землице, удобренной потом и кровью. К лугам и озёрам, чем грезят во сне. К погостам отцов – своему родословью. К цветам и деревьям – исконной родне.

Полсердца навеки осталось в деревне. Полсчастья зарыто в суглинках полей. И каждый из нас о прародине древней, Хотя бы раз в жизни, – но думал о ней.

* * *

Увы! Я прозевал начало лета В горячечном бессонье третьих смен. Я позабыл, работая, что где-то Сердца людей дурманила сирень.

К июню я повёрнут был спиною Работой. Но я видел, как цвела Акация горчичной желтизною, Пыльцою, раскалённой как зола.

Она цвела у обжигальной печи, Где билось пламя в миллион свечей. Мир выгорал и рушился на плечи Стеною раскалённых кирпичей.

Но сквозь огонь я видел цвет акации, И он с тех пор стоит в моих глазах. Я всё же научился разбираться В своих поступках, людях и цветах.

И этот цвет горячечно-горчичный, Как лезвие, вонзённый в полутьму, Я не отдам ни за какие тыщи И не передоверю – никому.

Все мы - бумажные кораблики

Я прожил жизнь, не слишком часто оглядываясь назад и не слишком пристально вглядываясь вперёд. Я просто жил, не слишком серьёзно и не слишком легкомысленно, переступил через семидесятилетнюю ступеньку и только тогда понял, что следующая годовщина мне будет не в радость.

Но сердцу хочется праздника. Так пусть он будет каждый день! Ах, если бы я раньше подумал об этом: ведь я уже прожил двадцать пять тысяч дней и отпраздновал из них только семьдесят. Ну, не растяпа ли я после этого?..

Старость для меня ценна тем, что я научился чувствовать и ценить время, стал ощущать его трепещущую плоть, когда она сосредоточилась на пишущем шарике ручки, помимо моей воли катясь по бумаге, то и дело опережая мысль и запечатлевая её раньше, чем я проговаривал про себя стихотворную строчку. Я прочитывал её вслух и прислушивался к звучанию слов, затем нанизывал на неё новую строку, пока не являлось всё стихотворение. Несколько уточняющих и охорашивающих вычёркиваний – и я отпускал свой стих в свободное плаванье, как ещё один бумажный кораблик, спущенный со стапелей стихотворной верфи. И провожали его не орудийный салют и брызги шампанского, а мой вздох облегчения.

Часто бывало, что, отплыв, мой стихотворный кораблик тонул в шквале критики, разбивался на рифах злобной зависти, так что и у меня есть своё кладбище погибших стихотворных корабликов, которые захламили объёмистое нутро письменного стола. И только часть из них пошла на переделку и использование в строительстве нового кораблика, иногда весьма удачного в смысле выживаемости в толчее сотен тысяч ему подобных, блуждающих в ожидании своего читателя над пучиной забвения в бездонном и безмерном поэтическом океане России.

Время стихостроительства пришло ко мне не сразу, поначалу это были кораблики детского воображения, и то, что это именно кораблики, я понял, когда семилетний, стоял перед окном, а за ним клубилась беззвёздная ночь. Пугающе тревожно шумел ветер листьями моего одногодка клёна, кочковатое от облаков небо быстро меняло смутные очертания. Там, где были межоблачные прорехи, оно окрашивалось молодым месяцем тусклым светом, но ненадолго. Однако народившийся месяц был настойчив в своём неукротимом стремлении увидеть землю, и ветер помог ему исполнить желание. Он разогнал тучки, и в моём окне, казалось, совсем рядом легонько запокачивался кораблик – месяц. Я распахнул оконные створки, и он отплыл от меня к вершине притихшего от безветрия клёна, но был ещё совсем рядом, и подрагивал, как живой, и еле-еле покачивался с носа на корму, с кормы на нос и непременно умчался бы в темноту, но его удерживала вспыхнувшая, как шляпка алмазного гвоздя, блескучая звёздочка.

Зачарованный месяцем, я был не в силах оторвать от него взгляда, но пришла с работы после второй смены мама и, ласково нашёптывая, уложила меня в кровать.

– Новый день начался, Коленька, – убаюкивала меня она. – Новый кораблик приплывёт к тебе листком календаря. Ты сделаешь из него кораблик – лодочку, чтобы поставить на подоконник. Вот придёт зима, вот уйдёт зима, а весной поплывут твои кораблики по вешней полой воде в Иртыш, а из него в море-океан, по всему белому свету.

Первые кораблики появились в нашем пластяном земляном доме с возвращением маминого брата, моего родного дяди Петра, фронтовика-танкиста, которого демобилизовали только через пять лет после Победы. Я, безотцовщина, как увидел солдата в фуражке со звездой, в шерстяной гимнастёрке и бриджах, заправленных в хромовые сапоги с голенищами в гармошку, так и влюбился в него без памяти, тянулся к нему, надоедал с расспросами, но он на меня не серчал и одарял всем, что у него было: расчёской, ножичком, китайским с иероглифами карандашом и записной книжкой, и когда подарки истощились, подошёл к настенному календарю, оторвал листок и подмигнул:

– Хочешь, научу делать кораблики?..

Календарный листок в дядиных руках в мгновенье ока превратился в небольшой, размером со спичечный коробок, кораблик. Он тут же налил в алюминиевую миску воды, раскрутил её пальцем и сказал:

– Корабль на воду спустить!

Я осторожно положил кораблик на воду, и он запокачивался и заходил кругами по алюминиевой посудине. Но его хватило не больше чем на полчаса, тонкая бумага намокла, кораблик отяжелел и, когда я его взял в руку, превратился в мокрый комочек. Это меня огорчило, но не отбило охоту научиться делать кораблики, и все листки календаря стал превращать в кораблики, конечно, даже не предполагая, что вдруг, через десятки лет, вспомню об этом и пойму, что время всегда остаётся с человеком, пока он жив.

Ах, как я сейчас понимаю, что всё моё писательское прошлое – не что иное, как деланье литературных корабликов самой разной формы и величины. Доводилось мне отправлять в плаванье стройные, как парусные корветы, лирические новеллы, тяжёлые, как дредноуты, исторические романы. Провожал я в путь романы – теплоходы о современности, однако милее мне, старому корабелу, строить из миражей воображения, из осязаемой пустоты предчувствия бумажные кораблики негромкой лирики.

И, прожив жизнь, я понял, что я сам был не человеком, а бумажным корабликом, что все люди суть бумажные кораблики, и каждого в своё время Бог отправил в земное плаванье с какой-то целью. Разгадать её не берусь, могу только предположить, что бумажные кораблики от Господа – единственное спасение тонущему в грехах человечеству.